

Р.2
О-39

4.1985

Октябрь-Декабрь

ОГНИ
КУЗБАССА





С VI зональной выставки «Сибирь социалистическая».
Нар. художник РСФСР А. Алексеев.
«Портрет писателя В. Распутина».
Иркутск. У-М.

№ 4 (90)

Год издания 37-й

Выходит
ежеквартально

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Редактор

Владимир МАЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Виктор БАЯНОВ

Сергей ДОНБАЙ

Геннадий ЕМЕЛЬЯНОВ

Валерий ЗУБАРЕВ

(ответ. секретарь)

Владимир КУРОПАТОВ

Владимир МАТВЕЕВ

Валентин МАХАЛОВ

Зинаида ЧИГАРЕВА

Геннадий ЮРОВ

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Владимир Коньков. Брошенки. Повесть 5
Евгений Богданов. Миллион. Рассказ 44

ПОЭЗИЯ

Владимир Иванов. Два снимка сороковых годов 3
Любовь Никонова. «Похожи труженики...» Кленовая роща. «Из-за старинной башни вышло солнце...» Снеговик. «Было сердцу неведомо многое...» «Как получилось?...» 43

«МЕЖДУ НЕБОМ, ДУШОЙ И РАДОСТЬЮ...»:

Николай Николаевский. На юбилей трамвая. «Беседка, увитая зеленью летней...» Владимир Берязев. «На осенней степной окраине...» Алексей Бельмасов. «По улице города летней и душной...» Семен Печеник. «Я знаю с детства...» «Ложится заветное слово...» Владимир Соколов. «Словно лес, мое тело живет...» «В ладонь снежинка упадет...» 49

НАШ СОВРЕМЕННИК

Геннадий Естамонов Дом для всех 52

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА

Зинаида Чигарева. Все тревоги мира... (Размышления писателя о воспитании) 58
Л. Никонова. Эстетические субботы в Малиновке 66

ПАМЯТЬ СИБИРИ

М. Кушникова. Первые коммунары 67

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

А. Казаркин. Диалог о воспитании природой 72

О КНИГАХ ТОВАРИЩЕЙ

Иосиф Куралов. Единство духа и истории. Тепло полуденного костра 77
Содержание альманаха за 1985 год 79

Кемеровское
книжное
издательство
1985

Адрес редакции:
650099, Кемерово-99,
Советский пр., 40,
тел. 6-85-14

Рукописи
не возвращаются

Составитель
В. М. Мазеев;
Ведущий редактор
Л. В. Глебова;
Художественный редактор
В. П. Кравчук;
Технический редактор
Г. Н. Манохина;
Корректор
В. А. Лузина

На первой стр. обложки: С VI Зональной выставки «Сибирь социалистическая». Ю. Обидлентов. «Химстрой. Бригада Л. Ф. Гаюнкиной». Х.-М. Томск.
На четвертой стр. обложки: С VI зональной выставки «Сибирь социалистическая». В. Харламов. «На всю оставшуюся жизнь». Х.-М. Красноярск.

НАШИ АВТОРЫ

Иванов Владимир Васильевич. Родился в 1948 году в д. Макаровка Уфимской области. Окончил Уральский государственный университет. Автор поэтических сборников: «Беседуя с тобой» (г. Кемерово) и «Земной парус» (г. Москва). Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Никонова Любовь Алексеевна. Родилась в селе Владимировка Куйбышевской области. Окончила Новокузнецкий педагогический институт. Публиковалась в журнале «Сибирские огни», «Смена», «Новый мир». Автор поэтических сборников «Скрипичный ключ», «Праземля». Член Союза писателей СССР. Живет в Новокузнецке.

Коньков Владимир Андреевич. Родился в 1935 году в селе Талое Красноярского края. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор сборников рассказов «Утренняя смена» и «Уголок свиданий». Член Союза писателей СССР. Живет в Кемерове.

Богданов Евгений Анатольевич. Родился в 1953 году в селе Чарыш Алтайского края. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Его рассказы публиковались в альманахе «Огни Кузбасса», в коллективном сборнике «День обещает быть хорошим». Член литературной студии «Притомье». Живет в Кемерове.

ОГ-203336-
+ ✓

Сдано в набор 09.07.85. Подписано к печати 30.10.85. ОП 07472. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Усл. п. л. 5,85. Усл. кр.-отт. 6,44. Уч.-пзд. л. 7,36. Тираж 7000 экз. Заказ № 16006. Цена 40 к. Кемеровское книжное издательство. Кемеровский полиграфкомбинат. Адрес издательства и типографии: 650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

ДВА СНИМКА СОРОКОВЫХ ГОДОВ



...И памятью я не впервые
бегу во времена иные,
где под венцом отец и мать
сидят на фото молодые,
и мне почти их не узнать.
Из прошлого их лица светят
энтузиазмом пятилеток.
Отец из армии домой
вернулся бравым старшиной,
а рядом мама с ним — юна,
как в годы те моя страна!
...И было так — на свадьбе людной
кричали «го-о-орько» — молодым.
Как водится, не без причуды
шел коромыслом свадьбы дым.

Выходил в круг бригадир
и глазами на всех — зырк!
— Завтра встапу рано-рано
и подамся до кульстана.
Мне до повой свадьбы
взять не загулять бы.

Выплывала в круг тетя Вера,
отвечала, как умела:
— Извищи-ка, бригадир,
дай поною да попляшу —
на тяжелую работуху
кажинный день хожу.

У тети Моти муж — гулена,
но она к нему с поклоном:
— Пока дома вышивала
полотенце уткую,
увлекался милый мой
подругою Марфуткою.

И-и-их! Бабошки!
Пойду с горя утоплюсь
я в стогу соломы, —
и кому какое дело,
куда брызги полетят!

Дядя Коля, муж-гулена,
тоже в круг и ей с поклоном:
— Ох ты, хотя, моя хотя,
здры тоскуешь, моя Мотя!
Не ходи по улочке,
не стои «родимый!»,
с нелюбимой дурочкой
легче, чем с любимой!

Даром дядя Гриш в матросах,
а любовь-то под вопросом:
— Закачалась палуба.
Ох ты, моя пагуба!
До свиданья, уезжаю
я на теплые моря.
У меня на бляхе муха,
на матроске — якоря!

Взмахнули шали два крыла,
и в круг загнобушка вошла:
— Ах ты, паря, ах ты, паря,
подарил бы што на память.
Не подарок дорог, пет,
а от милого привет!

— На прощанье павой-птицей
выплывай паперерез.
Дай мне сроку, приденьжиться,
там уж вышню наотрез!

им. А. С. Пушкина
Литературный зал
Домашний музей

... — Молодым мы пожелаем,
а чего — сейчас узнают:
— Дай бог столько им парней,
сколько в нашем лесе пней,
а впридачу дочек,
что болотных кочек!

И сбудутся те пожеланья...
Все это будет... Но когда!..
Когда сквозь слезы и сквозь пламя
пройдут свищовые года.
Еще хлебом немало горя
мы в каждый сорок тяжкий год..
И дядя Гриша-черноморец
в легенду ратную уйдет.
Еще хлебом немало горя...
И при атаке дядя Коля
в бессмертье во весь рост шагнет.
Еще хлебом немало горя...
На третий сорок тяжкий год
прибавит лиха недород
на высохшем колхозном поле..
И в неснях тех, что тыл поет,
мотив уже совсем не тот.

Горя горького не знала
ни с какой я стороны.
Это время затерялось
по ту сторону войны.

Век бы глаз не отрывала
от родимого лица —
дорогого провожала
я на фронт из-под венца.

Нет ни весточки, ни вести
мне давно с передовой...
То ль повенчанной невестой,
то ль осталась я вдовой.

В снах я вижу, как пад полем
вороп тяжело летит...
Неужели вдовья доля
сердце мне оледенит?

Неужели мой любимый
умер во поле от ран,
и война перерубила
мне судьбу напополам?

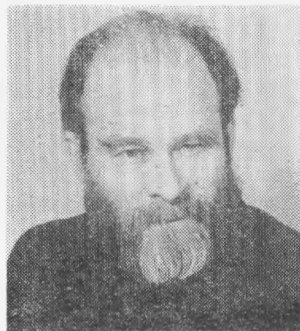
Все, о чем вдвоем мечталось
в мирный год родной страны,—
неужели все осталось
по ту сторону войны?!

Но долгожданный час пробьет!
На миг затмит былые беды.
Страна дождется Дня Победы
и вступит в сорок светлый год!
Отец, пронзен осколком минным,—
моей молитвою хранимый,—
как скажет бабушка потом,—
живым вернется в отчий дом!
И вновь придут односельчане.
Расставят во дворе столы.
И тех, кто не пришел с войны,
почтят в задумчивом молчанье...
Как будет не хватать в застолье
и дяди Гриши, диди Коли
и многох мужиков других —
теперь навечно дорогих
и ставших памятью и болью!..
Но грусть замрет, сердца поранив,
с неясной горечью вины.
И мать с отцом... на свадьбе давней,
что по ту сторону войны!
И все, кто с ними, так нечетко
сквозь дымку памяти глядят...
Их всех в тот день, наверно, щелкнул
трофейный фотоаппарат.

Какое это поколень!..
От них — из самых первых рук! —
мы взяли память и волненье
о днях печалей и разлук...
Освобожденная планета
качала русских молодых...
Из первых рук
в нас гордость эта
за доблесть дедов и отцов!..
Как новость первая природы,
где рончи все оглушены,—
из первых рук
нам вышли годы
послевоенной тишины...
Нам сохранить бы это время.
Нам тишину сбережь вокруг...
Мы дети лет послевоенных.
Тревога в нас — из первых рук.

Герои произведений В. Конькова, в том числе публикуемой повести «Брошенки», — люди обыкновенных профессий и живут они жизнью тоже обыкновенной. Но автор всегда старается в этой обыкновенности разглядеть особенность и неповторимость каждого человека с его жизненными испытаниями, его радостями и горестями. Каждый из героев являет собой как бы частичку человечества. Отсюда пристальное внимание В. Конькова к языку как средству выражения сложности характеров.

В. Конькову исполнилось 50 лет. От души поздравляем нашего товарища с юбилеем и желаем ему новых достижений в писательской работе.



Владимир Коньков

БРОШЕНКИ

ПОВЕСТЬ

В субботу, после обеда, сбросив шаровары, фуфайки, платки, сапоги-«бахилы», женщины одевались в юбки, кофты, платья, обувались в туфли и выходили «на улицу» — небольшой пятачок утоптанного гравия, поросший подорожником и мать-и-мачехой.

Воротнички, оборки, рукава-фопарики, пояски и брошки привлекательным отпеском повизны всякий раз освещали уже примелькавшиеся наряды, порождая взволнованную праздничность улыбок. Так обещающей радостью каждую весну расцветают в тайге оранжевые «огоньки», томительно растворяясь потом в знойной июньской пене белоголовых ромашек. Ромашки осколками облаков, улетающих за черные пихтовые увалы, густо засыпают все вокруг песколюбных оборудованных под жилье вагончиков у подножия насыпи, которая рельсами устремляется в молчаливую даль тайги, где сокрыты и будущий угольный разрез, и будущая жизнь обитателей пока что безымянного разъезда.

А было-то их всего около десятка неженатых, незамужних, возглавляемых единственным семейным, многодетным,

лысым, сорока лет хозяйственным мужем Григорием Чичилаковым. Григорий, или дядя Гриша, иногда вспомнив свое положение, любил построжить, однако, поскольку подобное происходило чаще всего в дни получек, то воспринималось его подчиненными как своеобразный номер художественной самодеятельности. На самом деле дядя Гриша мужик безобидный, озабоченный кроме всего покосом да огородом, поддерживать который в сырой таежной пизине было нелегким делом, исполнительскую, так сказать, власть передоверил Алексею Четверукову — парню верткому, с постоянной белозубой улыбкой и немигающим требовательным взглядом из-под широких, вроде бы приклеенных на белый лоб черных бровей, жадному на работу и на жизнь.

Алексей и на «улице» по субботам появлялся всегда первым из парней, в остро отутюженных флотских клешах, в широком черном пиджаке, с выпущенным поверх белым воротником рубашки, в распахке которой синели полоски тельняшки.

Песенник и остролов, он умел с за-

вораживающей непосредственностью рассказать анекдот, одному ему известным способом пополняя их запас постоянно, считать частушку с перченым припевом, и все это не только сходило ему с рук, но давно уже почти ритуально прижилося в праздничном обиходе на разъезде.

Разъезд отстоял от ближайшего поселка, если считать по суходолу, в шести-семи километрах ходу через болото. По тропке, кривляющей между кочек, редких сухожилых березок, позеленевших сухих стволов худосочных пихт, ходили парни в поселковый магазин.

Известие о предстоящем в воскресенье киносеансе, которое приносили возвращающиеся гонцы, будоражило воображение, разжигало нетерпение. И на следующий день все население разъезда отправлялось тем же путем, для удобства хождения неся в руках туфли, надеваемые перед самым поселком, где в праздничной сутолоке среди геологов, строителей, лесосплавщиков разъездовские держались кучно, блюдя свою автономию.

Заполночные возвращения домой не всегда случались в полном составе, причиной чему были попытки поселковых жителей завести знакомства с разъездовскими девушками, но тут вступал в силу неписаный закон деликатного невмешательства.

Выходя поутру на работу, на разъезде вспоминали разные смешные разности: вроде того, как жена директора молокозавода улетила с вертолетчиком, посадившим машину прямо в ограде завода; как на старом перевозе через речку Большая Кузба, за поселком, Витка-гастух споткнулся и разбил в кровь пальцы босых ног о камень, оказавшийся золотым самородком весом в триста граммов, и как потом мужики, побросав работу, за неделю перекопали чуть не всю переправу и окрестные берега, так ничего и не найдя; и только о своем прошлом — ни слова, даже остролос Четверуков. Будто и не было ничего, или канула в болото, в молчаливых бескрай-

них тонях, былая, далекая от разъезда жизнь каждого, не то схороненная про запас до возвращения, не то оставленная в обидной ненадобности.

Не любили здесь разговоров о прошлом, хотя, казалось, о чем же им бы и говорить в этой жизни, огороженной зашпуннованными на ржавых рельсах вагошками да свеженасыпанной железнодорожной насыпью, уходящей в неизвестность? А быть может, в этой самой неизвестности и теплилась для них заманчивая влекущая сила жизни?

Осень на разъезд принес первый сентябрьский дождь. Лето простояло горячее, сухое, с редкими пузырястыми веселыми дождями. А у этого был совсем другой голос, запах сырости и тоски. Всю ночь на понедельник взахлеб кричал ветер, стучал в окошко. Утром, когда, как обычно, перед выходом на работу ждали служебную коротковагонную вертушку, в восемь тридцать проходившую разъезд и сворачивающую на главную магистраль Новокузнецк — Абакан, Лидия Чеснокова удивленно ахнула:

— Ой, девочки, а как нынче стало далеко видать! Глядите, флажок-то на вагоне аж от самого поворота машет, чуть не у Шаманова Камня!

— А ведь и правда, — подтвердила Клавдия Торба и с наигранной озабоченностью заинтересовалась у бригадира: — Шаманкину-то избу не видать, Гриша?

Всплеск общего смеха утомил угрюмый голос Григория:

— Чего с утра-то скалитесь? Так бы работали, а то квартал к концу, а наряды мне чем закрывать вам? Их Лидкиным задом не прикроешь, а погода-то задурила — осень, девки-ягодки, костыль ей в бок, осень...

И все сразу увидели рыжую траву, низкие серые тучи, будто притушенное ночным дождем солнце.

— А просить чего я хочу Лидия, тебя, — озабоченно продолжал Григорий, —

мы с женой Митяшку хотим в Амзас свозить, животом малец замаялся, как резанный и днем, и ночью орет, видать, в пуну грыжа, а ее только бабки, рассказывают, и лечут. Надежда в поселок к фершалу ходила, говорит, в город везти резать. А каво в ем резать, году малыцу лет — и под пож. Вот в Амзас, к шаманихе хочу.

— Надежда-то не боится, что опять присушит тебя шаманка? — густо выдохнув папиросный дым, заинтересовалась Клавдия Торба.

Григорий, не удостоив ее ответом, продолжал объяснять Лидии: — Ты бы за девками приглядела, если запоздуюсь, чтобы скотину не растеряли. Алексей за старшего, значит, и, как говорится, ежели дождь не помешает, так и с богом.

Григорий направился в сторону своей избы, а тут мелкой россыпью швырнуло с неба, потом еще и заморосил, все сгущаясь, дождь. Григорий обернулся, чтобы что-то сказать, но только махнул рукой и пошел.

— Слушай команду, — весело крикнул Четверуков, — до окончания дождя по каютам и ждать: «Все паверх!».

Дождь так же внезапно и быстро перестал, как и начался, однако тучи не расходились, а, казалось, опустились еще ниже, но задористо зазвенел в сером утре голос Четверукова:

— Все паверх, места согласно боевому расписанию занять!

Не то возымела действие шутливая команда, не то просто бездейтельное сидение в комнатах в спешке не располагало к благодушию, только заторопился каждый откликнуться на зов.

Работу они делали привычную, ту, что у железнодорожников называется «рихтовка пути». И если в забивании костылей преимущество, конечно, было у ребят — удар женщины с мужским не сравнишь, — то на рихтовке бывало поразному. Лидия Чеснокова на спор взялась однажды потягаться с самим Четверуковым, чем привела в восторг по-сестрински привязавшуюся к ней Татья-

ну Сосипу, девушку несколько месяцев назад, в конце зимы шестьдесят шестого, объявившуюся на разъезде.

Сосипта оказалась здесь волею судьбы, представшей перед ней в лице начальника отдела кадров мостопоезда, по странному совпадению похожего на скороговористого, стриженного «подежик» агента оргнабора, веселого человека с полевой сумкой, чье выступление слушала Татьяна в Белоозерском клубе, где она работала помощником кино-механика.

— Как ты говоришь? — переспросил Татьяну начальник отдела кадров, — хочешь на трассу мужества? — и глубоко вздохнул. — Я понимаю, что ты совершеннолетний человек, и нам работники пужны, и что государство тебе подъемные не зря платит, но трасса это не кипа, дочка.

Татьяне послышалось в его голосе те самые нотки, которые в ее разговорах с отцом всегда выбивали из колеи и отчего-то доводили до слез. Видимо, и от глаз начальника отдела кадров не ускользнуло движение в лице просительницы, и он поторопился предупредить: — Только без слез, мы тебя не в детский сад принимаем. Трасса от тебя не уйдет, а пока поработаешь на объектах местного значения, на всякий случай и к городу поближе, — почему-то добавил он, — да и к климату нашему, сибирскому, ты, пичужка, там легче привыкнешь.

Григорий Чичинаков ее встретил почти такими же словами. Славке Таирову, приехавшему с ней по оргнабору, он ничего не сказал, а вот Татьяну спросил:

— Тебя откуда к нам, пичужка, занесло? — Узнав, что из Воронежской области, закивал головой. — Проходил я ваши края. Пехотинец я был в войну, все пешком шел. И по вашим местам довелось.

Определил Григорий Татьяну сам в вагончик к Чесноковой.

Маленькая, коротко стриженная, в брючках, хоть и в приталенном пальто в широкую клетку и с капюшоном, Татьяна походила бы на переодетого подростка-мальчишку, когда бы не модно выщипанные брови и яркая несмывающаяся губная помада. Эти вызывающие сплсходительную улыбку соображения между тем исчезали при столкновении с ее недоверчивым взглядом, пастороженно затаившимся за самодеятельной парфюмерной маской. Ее Татьяна как бы сбросила с лица вместе с панграшной независимостью, подчеркиваемой сигаретой, которую Татьяна подносила ко рту заметно дрожащими тонкими пальцами, — едва Лидия, показав кровать в одном углу комнаты, бесхитростно дружелюбно полюбопытствовала:

— С утра-то жевала? — И выставила на стол банки со сгущенным молоком, говяжьей тушенкой, в панльвах поджаренной горбушки поздравую, производства поселковой пекарни, краюху хлеба.

Может быть, родительская интуиция подсказала дяде Грише, что поселить эту девчущку, едва не ровесницу его старшей дочери Пюрки, следует непременно в комнате Чесноковой, а может, причиной тому был нешумный, однако неоспоримый авторитет Лидии в этом маленьком, тесном от поровов общежития. Может быть, задерганпый заботами бригадир и без всякого умысла решал этот вопрос, но как бы там ни было, повоиспеченная повоселка, подетски стосковавшаяся за долгую дорогу по-домашнему, родственному соучастию, с такой бесхитростной откровенностью чуть ли не с первого знакомства потянулась к Лидии, что и та не могла не отозваться ей.

Давно справившая печальный праздник сорокалетия в сиротском уюте общежития Лидия с неожиданцо бездумной неоглядностью окупилась вдруг в суету сестринских забот. Впервые переживаемые родственные хлопоты за-

хватили женщину такой повизной жизни, что со временем с нею самой стали происходить невероятные перемены. В одну из суббот, когда они с Татьяной вышли на звуки четверукипского аккордеона, Алексей громогласно ахнул:

— Братцы-кролики, глянь, лягушка-царевна!

На Лидии было всем знакомое темное-синее, с мелкими желтыми цветами шелковое платье с длинными рукавами и узеньким пояском, черные туфли «лодочки». Но на этот раз под знакомой синью шелка с пронзительной откровенностью вдруг увиделась томительная округлость плеч, нежная пастороженности, затаившаяся в глубокой розовой ложбинке на груди, высоко и обрывисто вскинувшей матерчатые цветы, неудержко ниспадавшие к широкой крутизне бедер, к сильным, узеньким в небольших ступнях, ногам.

В хвойной мрачности таежного дня случается солнечному лучу прощелиться сквозь тесноту иголок. Тогда под живительными зернами белого неба вспыхнет минутным блеском зеленой радости ущербная листовная поросль, томящаяся в замшелом подножье великанов, расплеснет свое счастье вокруг, и удивительно зашуршат невозмутимые паноротники, застучит дятел, призывая пернатых к песнопению. Малая искорка празднично взбудоражит глухомань, от сияющей тайны древнего липейника на корневой жиле столетнего кедра, до желтовато робкого, еще в зелени завязи бутона на самой его макушке.

Так же певеликая жепская хитрость, подсказанная Татьяной Лидии (она только подняла под шпильку на затылке обычно закрывавшие шею и лопыпу лица густые, соломенного цвета волосы), открыла неожиданно по-лебединному изогнутую в вырезе ворота белизпу шеи, не помятой на удивление морщинами времени. Ее изящная линия, плавно округляясь в подбородок, незаметно темнея загаром, раздваивалась

верх и образовывала овал лица, наполненный такой неизъяснимо грустной российской красотой, что даже широкий розовато-синий рубец во всю правую щеку не ослаблял впечатление необычности и восторга.

— Ну, Лидуха, убей меня бог, самое время не именины, а свадьбу справлять! — выговорил общее удивление Четверуков, и его пальцы отчаянно кинулись по клавишам. — Ты меня не любишь, не жалеешь...

Но не грусть, а веселье рвалось из мехов аккордеона, и, споткнувшись на какой-то ноте, пальцы музыканта сбили ритм, выдохнули, как всхлинули, громкий аккорд, и посыпались частушки.

— Девки по лесу ходили, любовались на ель. Какая ель, какал ель, какие шишечки на ней!

Клавдия Торба — это она была именинница — высокая, узкой кости женщина, в праздничной шелковой белой кофте и широко расклешенной зеленой шерстяной юбке, бросилась отчего-то обнимать Лидию, и это оказалось вроде бы сигналом к общему веселью, вспыхнувшему шумом разноголосицы и смеха.

— Клавя, ты сегодня специально, чтобы клеймо ставить, губы-то намазала? — вскричал Четверуков, заметив на щеке Лидии след Клавдиного поцелуя.

— Помада — не засос, сотрется, не поспешит, Леша, — под общее взвизгивание напомнила Четверукову его недавние похождения в поселке Клавдия. Он же, никак не выразив реакцию на ехидное замечание именинницы, сделав торжественную мину на лице, вынул из кармана аккуратно сложенный клетчатый платок и подчеркнуто церемонно обратился к Лидии:

— Позвольте, Лидия Трофимовна, покаживать за вами? Ликвидировать следы, так сказать, бескультурья...

Но Клавдия, весело оттолкнув его, подхватила Лидию под руку:

— Утремся самп, а вы все за нами!

Лешка, чтобы музыка не молчала, слышишь?

Скатерть разостлали на привычном месте, на большой цветастой поляне, отгороженной от болота кустами черемухника, под тенью березы, в одинокой свободе вольготно раскинувшейся густолистые ветви.

Родниковый ручей, пробивший маленькое извилистое русло меж сухих кочек, убегавший с черемухового угла поляны куда-то в тайгу, остужающе успокаивал разгоряченные угощением и пляской души, и тогда затягивалась кем-нибудь долгая, протяжная песня про то, как «бежал бродяга с Сахалина...»

Сергея же Збанецкий принялся пытаться дядю Гришу:

— Ты понимаешь, какой у меня разряд по сварке? Ты меня, фактически, чернорабочим, на лопате держишь, а понимаешь, что я классный сварщик? Ты трубу под давлением варил? Под давлением, фактически, варил? Но я тебе за справедливость, давай сейчас по швеллеру на двадцатиметровой отметке, без пояса, цыганочку сбациаю, хочешь?

На что дядя Гриша резонно заметил:

— Где я тебе эту отметку возьму? А к лопате ты, Сергей, самовольно пристал, по добровольному пайму, и упижать ее я не позволю. Всю жизнь она меня кормит. Я по-твоему что, филоп какой?

— Ты, дядя Гриша, не филоп, фактически, ты справедливый человек, но в сварке ты слепой и глухой, — стоял на своем Сергей.

Дядя Гриша и на это не обиделся, он только призвал Сергея по-жизненному рассудить, что и швеллер на двадцатиметровую отметку без лопаты не затащишь....

— Ей, холере, фундамент тоже рыть падо! А чем?

Сергей примирительно согласился, что

кроме как лопатой нечем, но тут же восстал:

— А все ж таки, хопь, я тебе сбачаю на швеллере на двадцатой отметке?

Однако недолго держался песенный покой беседы. Он разломался буйным криком отдохнувшего веселья. Вскочила именинница, белая кофта которой уже краснела винными пятнами, и на коричневом от не сходявшего все лето загара угловатом лице теперь уже только над губой алели следы помады.

— Леша, голубчик, поцелую тебя, Леша! — запрокинув голову, опустив длинные руки вдоль сухощавого тела, звала она. И Четверуков тотчас откликнулся долгим, нерешительным аккордом, медленно переходившим во все убыстряющуюся мелодию.

Медленно, в такт, пачинала двигаться по траве и Клавдия; одна за другой, будто притягиваемые, поднимались и остальные. А когда музыка и Клавдина душа слились в одном ритме, она взвизгнула, требуя к себе внимания, а может быть, собирая в себе какую-то особую силу, и дробно и часто начала бить босыми пятками (поразовались все) по утоптанной траве.

— Я падену юбку клеш, кофточку в горошинки! Мы не девки, мы не бабы, а мы просто брошенки! — уносился в синее небо сиплый голос. Ему, не то сбывая, не то поддерживая, звонко и задористо вторила Маша-хохотушка:

— Целовалась с милым я до рассвета у ручья! Целовалась бы еще, а он — спать мне на плечо!

Плясала и Лидия, уже распутив спутавшиеся волосы, закрывшие почти все лицо. Она частушек сама не поет, а только подхватывает припевки.

— А я трактор вожу, я корову не держу, пыще девки за комбайн, я скоро замуж выхожу! — сипит опять Клавдия, и на всем ходу вдруг останавливается, обхватывает руками Лидию, роня-

ет ей на плечо голову и, всхлиывая, тащит ее из круга...

У ручья Клавдия стала на колени, почерпнула ладонью желанную прохладу. Тоскливой каплей созрела откровенность души.

— И чего она, жизнь наша, пустоцветом катится, Лидуха?

Клавдия — ровесница Лидии, они с ней вместе первыми пришли в бригаду, вместе с Григорием работали в Мысках, на ГРЭС, в Ольжерасе; много бригадников сменилось, а они все вместе.

Еще в детстве маманя вдабливала ей: ты, Клаша, с лица не вышла, телом не сдобрела, потому тебе надо мужа приглядывать под себя. Пусть бы и постаре, или там малость убогого, главное — тихого, да богатого. Она ее и сосватала за Пантелея-заготовителя в шестнадцать лет. Тихий был, убогость не тягостная — хромота в одной ноге, богат. Хозяйство в доме — на колхоз хватит. Все жилы повытягивало то хозяйство. Детей бог не дал. Однажды, вдобавок, погорели, полсела выгорело. Пантелей с горя умом помешался. Все коробочку какую-то искал, говорил, с золотом. Так и замерз на пожарище.

В войну Клавдия в городе жила у тетки. На заводе работала. Там после войны сошлась с одним. Тихий, пепьющий, богомольцем оказался. Со знакомыми все друг дружку ласково «брат», «сестра» кликали. Клавдию в молеальный дом звали. Раза два сходила, видать, не угодна богу была, не прельстили ее собрания. А тут узнала: ее тихоня с «сестрой» одной «шуры-муры» завел. Устроила она ему «молитву» дома да и ушла.

К бабке в Мыски уехала. А та возьми да и помри вскорости после ее приезда. Мать-то давно похоронила. Отец с фронта не пришел. В Мысках опять мужиком обзавелась. Опять же тихий, музыкант, с трубой. Через бабкины же похороны и познакомились. Ничего так,

совестливый, ласковый, по запойный оказался. У него это через работу выходило. Покойников много, а их-то, музыкантов, четверо всего было. Клавдию, правда, не обижал, и она шибко на него не шумела. Только стигнул куда-то. Так вот: был и вышел весь.

— Можешь ты мне, Лидуха, про жизнь нашу от души сказать? — допытывалась Клавдия. — Вот и ты красавица была, а?

— Гляди-ка, музыкант стих! Так мы с тобой весь праздник разгоним! — затопилась Лидия прервать дальнейшие расспросы.

— А и то правда, — всколыхнулась Клавдия, резко развернувшись к березе и на ходу, не окликая музыканта, запела:

— Я падецу юбку клеи, кофточку в горошинки...

Алексей будто ждал ее сигнала, подхватил, понес на переливах-переборах мелодию, весельем заливая тоскливый сип Клавдии.

Татьяна, наплясавшись, прилегла на траве возле музыканта. У нее немного кружилась голова, и ей казалось, что это от долгого смотрения на небо, по которому целый день бежали облака, пока серый вечер незаметно не загнал их в дальний, подпиленный черными пихтовыми зубьями угол небосклона, куда еще скатилось солнце и откуда оно долго еще присматривалось узким, розово-малиновым закатным взором к веселью на поляне. Его заволокло буйство иссякло в прохладе вечера, как-то неприметно ушедшего в ночную мглу. Праздник кончился, и тусклым пятном низкой звезды замаячила будничная монотонность завтрашнего дня, своей похожестью на другие уже будто пережитая раз и навсегда.

В Татьяниной душе, как распрямляется после дождика помятая плясовая трава, остро напомнила о себе забытая было в веселье растерянная неприкаянность одиночества.

С того самого дня, как девчушка сошла с подножки дрезины, словно бы случайно закатившейся в этот, на отшибе от всего живого, угол, ее не покидало это ощущение, иногда только приглушаемое спрятанными слезами в ответ на жалостливое, от неумения не уключее сочувствие Лидии. Будь она рядом, Татьяна, наверное бы, и сейчас заплакала, но в близкой от Татьяниного лица темноте, едва в ней приметная белизной зубов, мелькнула улыбка Алексея, понимающе участливая, негаданно ободряющая.

Его аккордеон вдруг запел задушевым причитанием. «Расцвела рябина в поле у ручья...» — подсказала мелодия слова, и несладкий тихий хор острожно выдохнул их и понес по-русски печальную радость песни через враждебно затаившуюся лесную и болотную ночную хмарь.

Голоса, плутая в темноте, иногда сбивались, сталкивались словами, но путаница эта не мешала ходу песни. И сиплое удивление Клавдии, и игривое кокетство Машин-хотушки, и шутовское гуденье не в лад Сергея — все жило каким-то одним устремлением, сходясь постепенно в узкий круг вокруг музыканта. От этого непринужденного тяготения друг к другу, искренность которого сблизила, как бы оживила силуэты в знакомые фигуры, а руку Лидии подружески заботливо прижала к Татьянинному локтю, ее окатила щемящая волна радости, теперь уже, казалось, совсем смытая недоверчивую тягость отчуждения. По-другому стали видаться ей и бугор насыпи с ржавыми рельсами, как бы выстилавший ей встречную дорогу, и неприметные радостные мелочи соседского быта вроде новых красных резиновых сапожек ее тезки Татьяны Шубиной, в которых однажды в понедельник та появилась утром на рихтовке, и ворчливая придирчивость дяди Гришки, скрывающаяся порой неумелое сочувствие и понимание.

Всем этим, как проросший росток щупальцем корешка высасывает из земли ее живительную щедрость, насыщалось и Татьянино естество, неприметно обостряя вкус к новой жизни, наполняясь силой любопытства и радости. Перемены в девочке случились столь разительные, что даже Лидия не удержалась и однажды выговорила поздно ночью вернувшейся Татьяне:

— Ты, девка, головы-то не теряй от музыки, гляди, лес глухой, трава густая; Танька, добулкаешься...

— Ой, Лидушка, — восторженно вскрикнула Татьяна и, бросившись к ее кровати, уселась у изголовья на пол. — Ты совсем, прямо, как бабушка. Она так и говорила: добулкаешься, Танька!

— А то нет! Кому не видать, как после Клавкиных именин Лешка тебя обхаживает? Зачул кот свежатишу!

— Да он и целоваться-то по-настоящему не умеет, — засмеялась Татьяна и горячим лицом прижалась к голой Лидиной руке.

— А ты, глупенькая, знаешь, как это — по-настоящему? — с тревогой и жалостью в голосе спросила Лидия.

Татьяна этот вопрос оставила без ответа. Она подняла голову с руки Лидии и сама задала вопрос:

— А ты знаешь, что такое любовь?

— Это ты у лектора как-нибудь попытай! Спать давно пора, — отпугнула Лидия. Но Татьяна упорствовала.

— Один раз в жизни и поговорить по-человечески нельзя, только и дел здесь у нас, что спать. Не знаешь, так бы и сказала...

— И вправду, не знаю, — примирительно призналась Лидия.

— И я не знаю, — грустно вздохнула Татьяна.

— Господи, да тебе-то откуда и знать, — развеселилась Лидия, — у тебя годков впереди, как соленых волнушек у Григорьевой Надежды в кадучке. Какой у тебя огляд, девонька? Ты смотри, вперед бы не оступиться, не поторо-

ниться. Вон Клавка все спешила, спешила...

— А ты не торопилась, а чего-то в одном вагончике живете, — напомнила неожиданно Татьяна, но, услышав сама же бестактность свою, повинулась: — Ой, ты меня, Лидя, прости, я же не так хотела сказать...

— Как оно есть, так и сказала. Чего уж. Раз правда, куда от нее денешься! — вздохнула Лидия, и неожиданно серьезно добавила: — Может, я тебя, девка, обманула — про любовь. Задумалась сей час, видать, обманула! Ведь бывает! Да еще и так, что лучше бы и не было. Потом-то спохватишься, его нет и... — и ты пустая. Он умер, и в тебе что-то обмерло!

— С тобой было? — посочувствовала Татьяна.

— Со мной, — вновь вздохнула Лидия.

— Умер?

— Убили.

— В драке?

— Зачем в драке — на войне...

— На войне? — удивилась Татьяна. — Так это же когда было! И моего дедушку на войне убили. Бабушка потом за Семена Степановича замуж выходила. Он, правда, тоже умер теперь. Старенький был.

— Ну так и что ж, что выходила. И правильно. Просто по молодости первоначально еще ничего не понимаешь, — не объясняла, а в задумчивости говорила Лидия, — и у меня было. Жила с мужиком. И неплохой был, а все чего-то не по мне. Все вроде бы не так делает. Потом-то я докумекала, что просто я сама не та! Та, настоящая, так на войне и остается. Как бы это тебе объяснить? Понимаешь, будто бы не я, а кто-то чужой вместо меня живет, и все с прошлой стороны на это новое мое житье поглядывает, будто бы потерю разыскивает! Это еще на строительстве Волжского канала было. И жили мы, говорю, ничего. И повстречался мне там, откуда он взялся, наш старшина Еремий. Он,

оказывается, в том самом бою, когда нашу батарею разбомбили, тоже был ранен. А Васю-то, как он сказал, прямым попаданием накрыло.

Выходит, и ты сама па войне была? — недоверчиво удивилась Татьяна и, как бы в оправдание этого недоверия, объяснила: — Я же, Лида, послевоенного года рождения.

— Ну а у меня в сорок третьем тоже девочка должна была родиться, — тихо сказала Лидия.

— Как это? — не поняла Татьяна.

— Я сапипетруктором в Васиной батарее была. Меня ранило. Не очень, правда, но в госпиталь ушла. Трудно мне было. На четвертом месяце я была. Вася-то не знал ничего. Сказать все боялась. Было это возле деревушки Меркуловичи. Кругом болото, леса. Еремий меня через болото и проводил, до леса. До госпиталья недалеко было. А тут он попер в наступление. И на госпиталь танки налетели, мяли палатки, гусеницами давили раненых. Кто жив остался — того в машины и повезли. Ночь, крики, стоны, в машине все вповалку. У меня и началось. Скинула я, понимаешь?

К утру-то оклемалась я немного, когда нас к месту привезли.

— В концлагерь, — потрясенная услышанным, но все еще не до конца осмысливая, уточнила, понаслышке осведомленная Татьяна.

— Нет, вначале нас в какое-то овощехранилище поместили, на железнодорожной станции. Концлагерь — это потом был, — как-то буднично-терпеливо объяснила Лидия, — вот, гляди-ко...

Она протянула руку, на которой еще недавно лежала щека Татьяны.

— Чего? — все еще непонятливо, но уже с пугающей ее самой догадкой насторожилась та.

— Видишь, цифры? Это вот лагерный номер и есть.

Они были едва различимы в темноте, но Татьяне показалось, что она явст-

венно видит их зеленоватую расплывчатость. И ей стало неловко.

— А я-то, я-то, дура, думала... — повинулась, она, но Лидия перебила:

— Знаю, о чем! Не ты одна, не беспокойся! Я уж привыкла. С опаской глядит. Каждый знает, кто с наколкой ходит. А объяснять каждому не станешь! А кто и по-свойски поровит знакомство завести. Только я жиганства сызмальства не терплю, противно! Вот и надумала длинные рукава носить. Отмыть не отмоешь, и от пригляда прикрыто клеймо-то!

— Они били тебя? — в Татьяне стужалось ощущение страха боли.

— Каво там бить было? Сами как мухи дохли, — усмехнулась Лидия. И от усмешки этой Татьяна вздрогнула, будто бы ожила, навалилась нестерпимой немоготой тысячу раз виденная ею в кино чужая беда войны, ожила в таежной глухомани, пришла в тихий полумрак общежитской комнатухи смиренной болью памяти Лидии.

И жутко стало девушке, но она еще все-таки шепотом, каким дети, слушая страшную сказку, потирали глаза, рассказчика в надежде на счастливый конец, спросила:

— А как же ты?

— Не знаю, — опять усмехнулась Лидия, — сама удивляюсь этому. Может, просто очень живуча. Ох, как живуч бывает человек, Тапка! Другой раз даже пожалеешь: ну к чему так! Шрам-то на щеке — это оттуда память. Чтوب, не дай бог, не забылось, видать!

Теперь уж Татьянины пальцы потянулись к лицу Лидии и сквозь сыпучую шероховатость волос осторожно коснулись бугристо-гладкого рубца. Неожиданно вслед за рукой она сама вскинулась на колени и, будто прячась от чего-то страшного, по-детски уткнулась Лидии в грудь, и жалостливая дрожь слезами всколыхнула ее худенькое тело.

— Ну что реветь-то, что реветь, — обхватила руками Татьянину голову, сама

со слезами в голосе уговаривала Лидия. — Было, да слышно! Слава богу, живем. Ты вот-ка разболакайся, да лезь-ка ко мне рядом! И попи утри, говорю! А то за красный нос Лешка разлюбит!

По-ребячьи, тихо всхлипывая, Татьяна так и уснула, притулившись к плечу Лидии. Утром, собираясь на работу, Лидия напомнила:

— Ты, девка, Лешку поостерегайся!

С тех пор ни о нем, ни о прошлом Лидии разговора у них никогда не было.

Татьяна уж совсем прижилась на новом месте. А тут еще и помог случай, необычайно вознесший Татьяну в мнении обитателей разъезда.

Когда разъездовские, в один из воскресений подойдя к поселковому клубу, увидели поверх объявления о новом фильме «Дело было в Пенькове» тетрадный листок с надписью: «Показ ввиду болезни отменяется», — Клавдия первая возмутилась:

— Алексей, твои послы после чайной, видать, объявления-то читают! Как сердце чуюло, постирушку хотела завести, так замутили башку! Вам все одно, что в кино, что в чайную, а у меня и дело не сделано, и интерес не получился! Видать, девки, разворотом и по болоту.

Четверуков, которого такой оборот дела не устраивал, чистосердечно пообещал накостылять за дезинформацию Знобецкому, но Серега, в тот раз действительно ходивший в поселок в качестве гонца, исчез, едва выбрались из зарослей черемушника на крутой и, по всей видимости, в свое удовольствие попивал в чайной пиво.

Поддержала Клавдию и Лидия, но неожиданно всех удивила Татьяна:

— Вообще-то, — кивнула она в сторону клуба, — я могу, у меня права помощника киномеханика есть!

От такой новости вначале все пришли

в растерянность, но Алексей быстро сообразил:

— Пошли завклубом искать! — ухватил он Татьяну за руку и, затащив ее на покосившееся крыльцо, стал тарабанишь в запертую дверь.

На стук долго не отзывались, потом густой мужской голос окликнул:

— Ты, Васька, что ли? Маргариты нету. С утра в Междуреченск уехала. — На требование открыть тембр голоса повысился: — Учреждение не функционирует, читайте объявление. — И слышно было, как говоривший удалился. Однако Четверуков не успокоился до тех пор, пока дверь с визгом не распахнулась и маленький круглый человек в клетчатом пиджаке разъяренно не заорал:

— Нажрался уже? Думаешь, если кино нет, значит, и дружишников не будет? Я тебя собственноручно к участковому прямо в избу сволоку!

И даже когда узнал, что ему предлагаются услуги киномеханика, завклубом, а это был он, в особый восторг не пришел:

— Спалите хлевушку, а отвечать-то мне? Договаривайтесь с Майтаковой — киномехаником. Под ее ответственность, пожалуйста. В шестом «финском» доме, по левую руку, она квартирует.

Поселок, в вольном беспорядке поставивший дома вокруг лесопильного завода, начинался, как многие в этих краях, лесорубами. От них и остались вздыбленные на облысевшем склоне угора две первых улочки сборных из деревянных щитов двухквартирных домиков, именуемых в разговоре «финскими».

Под тенью навеса, протянувшегося от крыльца в глубь двора отсчитанного ими шестого дома, Четверуков с Татьяной увидели черноволосую босоногую девушку. Она сидела спиной к улице на чурбаке возле небольшой загородки, внутри которой тормозились, падсочно

звоня, десятка полтора желтых ды-
личных комочков.

— Эй, пылячий пастух! — крикнул
от ворот Четверуков, — позови-ка нам
киномеханика!

Девочка обернулась, на широком ли-
це ее, растянутом в скулах так, что ве-
ки глаз не только сузились, но и угол-
ками наклонились к небольшой при-
плюснутой переносице, мелькнуло подо-
бие любопытства и исчезло за непрони-
цаемой лоснящейся бронзовитостью.

— Эсен эркемай, кизим¹, — медленно
выговорил Алексей, — чего уставилась?
Киномеханика, кино, понимаешь... — за-
крутил рукой почему-то, как вертят не-
видимую рукоятку, Четверуков.

Девочка поднялась, одернула левой ру-
кой подол, правая, забинтованная, под-
вешена была к груди, на веревочку че-
рез шею, медленно пошла к калитке.

— Эсен, нанчи²! — серьезно ответила
она по-шорски.

— Хозяйку позови, курица, — Четве-
руков пальцем указал на дверь дома,
мимо которого проходила девочка, —
хозяйка в избе или где, спрашиваю? А,
может, ты по русски хепде хох?

— Вам хозяйку или киномеханика? —
неожиданно неестественно для нее
взрослым голосом произнесла девочка,
чем вызвала некоторое замешательство
у Четверукова.

— А кто здесь живет? — подозри-
тельно насунясь, спросил он.

— Шелковниковы, — поправляя пере-
вязь здоровой рукой, ответила девочка.

— Так что же нам завклубом мозги
крутил? — в сердцах воскликнул Алек-
сей. — В шестом доме — киномеханик...

— А я у Шелковниковых на кварти-
ре, — объяснила девочка.

— Ты механик? — от удивления Алек-
сей на мгновение потерял дар речи, и
только громкий хохот освободил его от
оцепенения. — Значит, ты, кизим, кину-

ху крутишь? Тогда у нас к тебе дело.

Кира Майтакова, невозмутимо слушая
Четверукова, не очень-то дружелюбно,
как показалось Татьяне, несколько раз
взглянула на нее.

— Руку я кипятком обварила, а Гер-
ман Исаевич без меня не разрешит.

— Крутить Тапюха будет, ты знаешь,
откуда она приехала? — стараясь не
вспылить, чтобы совсем не испортить
дело, и в то же время желая произвести
впечатление, многозначительно наме-
кнул Четверуков.

— Ладно, — не отреагировав на его
замечание, согласилась Кира, — подожди-
те.

— С гонором, — когда девушка ушла
в дом, заключил Четверуков и не сдер-
жал удивления: — Подумать, механик —
курицын пастух! Я думал, шорцы из
тайги не вылазят, по улусам своим си-
дят, белку да бурундуков промышляют,
а тут — глянь, техника!

Татьяна благополучно отработала се-
анс, хотя в первую минуту, когда Кира
ввела ее в тесную безоконную компа-
тушку кинобудки, обуяла девушку та-
кая робость, что она была готова уже
и отказаться от затеи.

Алексея Кира в будку не пустила,
объявив, что посторонним вход воспре-
щен!

— Забыла я все! — призналась Татья-
на, — ведь я всего полгода помощником
работала.

Но Кира неожиданно подбодрила, ста-
ла подсказывать.

И в самом деле, с первых щелчков
проектора к Татьяне как бы откуда-то из
темноты стала возвращаться уверен-
ность узнавания дела, а к концу сеанса
она уже болтала с Кирой, как со старой
знакомой. Оказалось, что девушки в
один год окончили школу и что родите-
ли Киры не очень одобряли выбор про-
фессии, и что она завтра с геологами
уезжает к ним в город, где и пробудет,
может быть, не только до выздоровле-
ния, но и весь отпуск.

¹ Эсен эркемай, кизим (шорск.) — Здравствуй, девочка.

² Эсен, нанчи (шорск.) — Здравствуй, друг.

Четверуков все-таки к концу сеанса прорвался в будку. Он пришел объяснить, что по согласованию с руководством, то есть с Германом Исаевичем, у того в кабинете после кино состоится банкет!

Алексей же еле отбил Татьяну у разъездовских, восторженно налетевших на нее у дверей кипобудки после окончания сеанса. Лидия схватила ее в охапку, стала тискать, приговаривая: «Да какая же ты у нас, Танька, разумница!» И Четверукову пришлось не один раз, причем, повышая голос, объяснять, что товарищ Соснину ждет сам завклубом для очень важного разговора.

В кабинете завклубом Алексей, оказавшийся там уже своим человеком, моментально со всеми перезнакомил Татьяну, усадил ее на примятый, из коричневого дерматиона диван, между участковым уполномоченным — товарищем сержантом, по неофициальному случаю просто Мишей, и завбиблиотекой — «тоже Татьяной, но, к сожалению, уже замужем!». Муж ее — тихий улыбчивый белобрысый парень, оказался в первых помощниках у Алексея по кулишарной части.

— Давай, Федя, приступай! — распорядился Четверуков, сам присаживаясь на круглый диванный подлокотник, вплотную к зеленой суконной столешнице, на которой уже серебрились горлышки двух бутылок шампанского в окружении консервных банок, буханки хлеба и целой горы зеленых перьев лука.

Хозяин Герман Исаевич восседал за столом один, лицом к гостям. Он произнес первый тост: «За живительную, объединяющую силу искусства». От лица актива поселковой интеллигенции выразил Татьяне благодарность и надежду на творческое продолжение знакомства.

Чинный порядок быстро нарушился. Все весело перемешалось. Кресло Германа Исаевича вытащили из-за стола к дивану, хозяину вручили аккордеон.

Татьяна оказалась с Кирой на одном стуле, позади них, уже на другом диванном подлокотнике, упираясь спиной в стену, завешенную афишами, устроился Четверуков.

Герман Исаевич сыграл вступление, и Татьяна, радостно вскрикнув, обняла Киру: «Сто лет не слышала!».

— Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд... — приятного тембра речитативом начал завклубом.

Праздничным весельем захлестнули слова песни Татьяну. С этим настроением она и шла темной ночной улицей поселка в сопровождении всей компании, в который раз распевавшей: «Ах, мама, мама, это я дежурный, я дежурю по апрелю...»

Их с Кирой проводили до самой ограды «финского» домика, в калитку которого Федя с участковым не дали прорваться Четверукову, а под руки повели его по указанию Германа Исаевича к нему домой.

Долго еще на сеновале, под ласковым теплом тулунов, не спали девчата. Кира рассказывала о своей поселковой жизни, о городе, в котором прошло ее детство и в который она обещала свозить Татьяну, потому что за два дня, которые провела в нем Татьяна, по-настоящему его красоты нельзя было разглядеть.

— Видела ты наш проспект? Правда, всего десять домов, но на бульваре напоротник растет, понимаешь, в городе — таежный напоротник?! Тайга вокруг и пятиэтажные громады в асфальте. Когда солнце из-за Лысой горы лучами высветит проспект, он становится розовым. А вода в Усе! Ты такой пигде не пайдешь: посредице города, в речке питьевая вода и главное, чем жарче лето, тем она холоднее. Она с белков, с горных вершин....

Рассказывала и Татьяна о своем Белозерске в яблоневых садах, с единственным подковно-гужевым заводом, с площадью, вымощенной булыжником, на которой когда-то проходили ярмарки и

стоит старинный собор, теперь клуб, где и работала Татьяна помощником кино-механика. А жили они с бабушкой в старом домике на бывшей Купеческой, иначе Пролетарской улице.

На разъезд Татьяна с Алексеем вернулись, когда все уже были на насыпи. Алексей начал было объясняться, но дядя Гриша его остановил, объяснив, что ввиду технических причин, выраженных в геройском управлении киноаппаратурой Сосниной, прогул отменяется и засчитываться не будет.

Долго еще на разъезде вспоминали этот случай, тем более, что Кира уехала в город, клуб закрыли, уехал и Герман Исаевич — то ли в отпуск, то ли совсем.

А между тем, тело железнодорожной насыпи все глубже вращало ребрами рельсов в безлюдье нхтача, звоном металла и человеческих голосов приумножая негромкий хор обитателей чернолесья.

Лето, вытаявшее из снежных сугробов чесночной горечью весенних кореньев колбы, отосковав робким матово-фиолетовым остролистьем невиданных Татьяной цветов-калдыков, запалив будто из искр бивачных костров у подножья насыпи июньские заросли оранжевых «огоньков», — первое Татьянино сибирское лето — вызрело трепетной тайной рябиновых ягод. Они высоко и по-осеннему красно повисли в гроздьях из стога сена в конце покоса дяди Гриши, куда по вечерам заманивал Татьяну задушевно-загадочный голос Алексева аккордеона.

Дядя Гриша, новезший жену с большим сыном в Амзас — деревню на месте старого улуса шорцев-охотников, — как и предполагал, к вечеру не обернулся. Лидия, памятуя его наказ, после ужина, когда в окошко заснел тот сумеречный час, который обыкновенно в последнее время уводил Татьяну из дому, поинтересовалась:

— Не хочешь ли со мной проводить Гришиных девок?

— А чего с ними сделалось? Вон они, по шпалам лезят, — взглянув в окошко, заметила Татьяна.

— Григорий же Нюрке просил подсобрать по хозяйству, — напомнила Лидия утренний разговор.

— От Лешки все думаешь устеречь? — с невеселым смешком спросила Татьяна, но неожиданно решительно сама же себе и возразила: — А почему, в самом деле, не пойти? Только что будем делать? Корову доить я не умею.

Корову девочка, оказалось, подоила сама. Когда подруги вошли в избу, она около печки процеживала молоко, а на скамейке у окна, за столом, сидела гостья, в которой Татьяна не сразу признала киномеханика из поселка.

— Кира! — радостно-растерянно, как бы не веря сама себе, глядя на приветливо улыбающуюся девушку, воскликнула она и кинулась к той, затормошила, смеясь, приговаривая: — Лидя! Смотри, Кира, из поселка киномеханик! Что ж не показываешься? Разве так можно? Да откуда ж ты взялась у нас?

В узких Кириных глазах глубокая темень зрачков заматалась отзывчивой приветливостью, но она сдержанно, без отзвука волнения в голосе, призналась: — Я почему-то даже не подумала. Вчера вернулась из города. Отец дяде Грише подарок переслал: порош, дробь. Подумала: пока совсем не задохнулось, но верхней тропе к вам доберусь. А тут повезло, геологи машину в Амзас гнали, к вышкам. Я до свертка в ваш лог по гравийке и докатилась. Да еще отец просил узнать, почему Нюра не приехала.

— Василий Михайлович, Кирип отец, директор нашего интерната, — с гордостью объявила девочка, явно польщенная своей хозяйской ролью и тем, что оказалась втянутой в разговор взрослых, — а не приехала — картошку копали. И платье все просила мамку сшить. — На

Столе, за которым сидела Кира, лежал кусок материи. — Отец штанелю вот какого красивого купил мне, говорю мамке: «Солнышком» надо юбку скроить», а она: «Стану я такую матерью кромсать!» А теперь, когда она вернется?

— Мы же договорились, что я с собой возьму отрез и будет тебе «солнышко», — напомнила Кира.

— Договорились, а как задождит? — засомневалась Нюра.

— Да я в город с кем-нибудь переправлю. А то и сама завезу. В кино-игрокат поеду и завезу.

— Чудной дядя Гриша, в наше время больного ребенка, вместо того чтобы в больницу везти, потащил к какой-то шаманке, понимаешь, Кира? Строит железную дорогу, а колдунам верит!

— Нюр, зажгла бы, что ли, лампу! — Татьяна в свете окошка пыталась рассмотреть материю.

— Счас засветим, свички вот найду, опять девочки куда-то заиграли, — повзрослому посетовала Нюра.

Когда над столом вспыхнул желтый язычок керосинки, черной шторой затянуло окошко — изба будто огородилась уютom.

— А шаманка — Кирина бабушка, — многозначительно, не без ехидства, объявила Нюра. И после паузы, со значением выдержанной ею, добавила: — А напку нашего от контузии она вылечила!

— Вот те на! — удивилась Татьяна. — Чудеса какие, а я думала, наши просто подшучивают над дядей Гришей.

— Это не бабушка, а дедушка пап был шаманом. Он давно уже умер, — строго поправила Кира, и Нюра, почувствовав, видимо, что сказала невинно, вдруг предложила:

— А давайте блины стряпать? Я лучше мамки даже пеку. У меня тоненькие, с дырочками, поджаристые _получаются! Давайте, а? Лида, ну чего ты молчишь? — обратилась она к Лидии. — Печка у нас мировая, счас и затопим.

Девочка выскочила в сени, откуда вернулась с охапкой дров. Через несколько минут в печке загудел огонь, в избе поднялась веселая кухонная суматоха. Не прошло и часа, как в избе дынуло первым блином, горячо обожгло рот.

— А про маленьких забыли? — спохватилась Кира, — сходить позвать?

— Скажи, что блины, — раздумываясь возле печки Нюра в самом деле ловко орудовала сковородником, — а то по-другому и не заманишь!

Татьяна тоже вслед за Кирой вышла на крыльцо. Сизая прохлада вечера мягко омыла разгоряченное избяным жаром лицо. Она глубоким вздохом как бы попробовала воздух на вкус.

— Опять лето вернулось! С утра дождик, дрободан такой, холод, а к вечеру — совсем лето...

— Нет, посмотри на небо, видишь, тучи совсем на перевал наехали? Это к долгому дождю. Может быть, ночью и начнется, у нас здесь осень длинная, — спокойно возразила Кира, а Татьяна показала, что она даже как-то нехорошо усмехнулась. В это время из-за угла дома выскочили девочки.

— Люся, Вера, а Нюра блины стряпает, — объявила Кира, — за вами послала.

— А ты не врешь? — недоверчиво остановилась Люська, она была постарше. — Пюрка, поди, воспитывать станет! Она без мамки всегда воспитывает!

Из-за того же угла неожиданно показался Алексей. Увидев Киру, он несколько не удивился, будто бы знал, что встретит ее, и весело приветствовал девушку:

— Эсен эркемай, кизим! На блины всех приглашаем?

— Незваному гостю — обглоданные кости! — опередила Киру Татьяна.

— А как же блины? — приближаясь к крыльцу и как будто не расслышав прозвучавшую в Татьянинных словах неприязнь, невозмутимо полюбопытствовал Алексей.

— Вот, кизим, дела! Как ваш брат с нашим братом обращается, — пытался ли пренебрежительным смешком спрятать оскорбленное самолюбие Алексей. — Ну да ладно! — мстительно вдруг выпалось у него. И, не сказав больше ни слова, он пошел из огады.

— Дядя Алексей не любит блинов? — спросила Люська у вернувшейся визбу Киры.

— На-ко, возьми, Люся, горяченький блин, он с холодной сметаной вкуснее, — прямо со сковороды положила перед Люськой блин Лидия.

Блины заправляли чаем, настоящим на душице, с вареньем трех сортов: смородиновым, земляничным, малиновым.

Нюра так вошла в роль гостеприимной хозяйки, что придумала оставить всех почевать.

— На полу тулун расстелим, уляжемся, и всем хорошо будет. Я помню, у нас еще Верки не было, мы в Мысках к какому-то отцовскому другу ездили в гости, так все вповалку спали. Интересно было, взрослые все говорят, все рассказывают, всякие истории.

Лидия приглашения не приняла, сославшись на свою привычку к месту, а Татьяна с радостью согласилась, и против этого Лидия не стала возражать. Ее всей оставшейся командой проводили до самой калитки. Ходьбы от нее до вагончиков было минуты две-три. Их окна желто вырезались в темпоте, ветренно вздрагивающей от громкого аккордеонного вскрикивания. — Не бродяги, не пропойцы... — задиристо вторил ладам кренкий мужской голос.

— Кира, а у нас с Веркой бобры есть, — дернула за руку Киру Люська. — Они только не знают, что они наши. Кроме папки мы никому их не показывали, а тебе, хочешь, покажем?

— Это за что же мне такая милость? — засмеялась Кира.

— А мы тебя любим с Веркой, потому что ты... — но договорить Люське не дала старшая сестра.

— Вы опять одни по болоту шлепали? Утопнете, а мне отвечать? Вот завтра с утра в избе, узнаете бобров тогда, — пригрозила Нюра.

— Да мы не по болоту, мы через Камни, — попыталась оправдаться Люська, чем привела сестру в окончательный ужас.

— Да вы, окайные, не знаете, разве, что там медведь, а? Он сейчас берлогу подыскивает...

— Да какой медведь, какой медведь, — загундосила Люська, — папка сказал, что они от нас за Шаманов Камень ушли.

— Вот я отцовским ремнем-то вам дорожку укажу, ишь какие умные! — строжилась Нюра, хотя чувствовалось, что роль старшей в доме ей очень правится. — Ну так стелиться айдайте. Тулупы в чулане, сейчас натаскаем.

— А в чулане Апчутка, — тоненько пропичкала Верка. Она одной рукой держалась за Татьяну, во второй у нее была старая, с разбитой глиняной головой кукла.

— Он там неслухов дожидается, — подтвердила Нюра. И, понизив голос, объяснила Татьяне: — Мамка их пугает, чтоб по кринкам да банкам не шарились. А то они там мышатам кормушку устроили из пшена с вареньем! Стелиться-то станем?

— Что-то не хочется спать, — призналась Татьяна. Они возвратились уже к крыльцу, и она присела на верхнюю ступеньку.

— И мне не хочется! — вставила Люська. — Ты, Нюра, нам сказку про волшебников не дочитала.

— Сегодня хватит и блинов с вас, — категорически заявила старшая сестра.

— Сама обещала, — захныкала Люська не очень требовательно, видимо, уже усвоив бесполезность спора со старшей сестрой. И как-то без всякого перехода с мечтательным вздохом сказала: — А жалко, что в нашей тайге добрые волшебники не живут.

— Тебе-то они зачем понадобились? — наклонилась над девочкой Кира.

— Добрые волшебники всем нужны, — с неожиданной для нее серьезностью заявила девочка.

— Иди-ка сюда, — подтолкнула Люську к крыльцу Кира. — Подвинься, тетя Тапа, немножко, а ты поднимись на ступеньки, Люся! Теперь слушай меня внимательно! Закрой глаза. Вот сидите тихо. А ты, Люся, слушай меня! Лети, лети, лепесток, через запад на восток, — при последних Кириных словах в избе вдруг погасла лампа, и Татьяна ощутила, как из потемок повеяло совсем детски волнующей радостной робостью ожидания и таинственности. Это ощущение усиливалось еще и от переменившегося до такой неузнаваемости голоса Киры, что, казалось, другой кто-то из-за ее спины заклинал:

— ...через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли — быть по-моему вели!

А теперь, Люся, иди в избу! Не бойся, иди, до самой кровати с большой подушкой, только не останавливайся, слышишь?!

Маленькая девочка безропотно шагнула в темноту и вроде бы совсем исчезла, даже звуков шагов не доносилось на крыльцо.

— Кира, — беспокойно процентала Нюра. В тот же миг из избы услышался Люськин визг. Нюра вскочила, вздрог ее дернул и Татьяну, но с радостным визгом к ним навстречу выскочила Люська.

— Смотрите! Верка, смотри! — она держала в руках две большие, в красивых платьях куклы, — у мамки под подушкой они лежали! — Верка выронила свою с облупленным носом, в недоверчивой радости беря руками неожиданно появившуюся красавицу.

— Ну и чудеса, — любуясь восторгом девочек, сказала Татьяна.

— Кира их всегда балует, — подтвер-

дила Нюра, — а у меня, как Люська-то завизжала, сердце прямо зашлось. А тут еще и лампа... Кира, ты ведь наколдовала?

— В самом деле? — спросила и Татьяна.

— Зря я что ли шаманова внучка? — уже своим обыкновенным голосом спросила Кира, — разве я не волшебница?

— Волшебница, добрая волшебница! — хором закричали маленькие, — теперь зажги лампу, мы в избу с куклами играть пойдем!

— Столько чудес за один раз не бывает, — засмеялась Кира, и шепотом, чтобы девочки не услышали, объяснила взрослым, — с лампой мне неожиданно повезло! Но всей видимости, керосин кончился и, как видите, ко времени.

— Ой, ведь правда, — вспомнила Нюра, — вчера я допоздна читала, а сегодня с блинами-то и забыла заправить. Но все равно, как здорово получилось, будто в настоящей сказке, Кира.

Кирино признание не поубавило общей праздничности. На верхней приступке крыльца тесно уюстились в один ряд маленькие и взрослые. Но девочки вскоре поднялись, требуя засветить лампу, и старшая сестра ушла с ними в дом. Было слышно, как Нюра ходила в чулан и обратно, потом из избы перовым светом замахала керосинка, и снова услышались восторженные девчоночьи голоса и — стихли: увлеклись ребятами.

К крыльцу все ближе катилась волна сумерек, уневанная залить черноводом до самых небесных краев таежные отроги, минуты назад еще грифленные четкими силуэтами пихтовых стволов. Волна уже подступила к корням недалеких кустов, в макушках едва различимо топорщащихся крупным листом.

Капельками росы с рябинового листа сорвалось в Татьянинной душе любопытство наивной детской оторопи перед безобидностью сказочного страха и засластила тревоги и заботы угасшего дня,

как сластит от первых заморозков злая горечь рябиновых ягод, оставляя терпкий холодок воспоминаний летних ветров.

Голосом ожидания и удивления Татьяна окликнула свою, как оказалось, необыкновенную знакомую:

— Кира, получается, что твой дедушка... — но Кира, молчаливая как бы в предчувствии этого вопроса, резко, так, что Татьяна сразу услышала ее неудовольствие, перебила:

— Ничего и не получается!

— Извини, конечно, — виноватость смугнула тепло доверительной откровенности, — так вдруг охлаждает росынь мороси с листа в лицо, — и Татьяна пояснила: — Я, понимаешь, впервые в жизни встречаюсь с живым волшебником, ну, то есть его выучкой, но все равно, это так захватывает. Мне все казалось, что из обмана чудес мы вырастаем раньше, чем из своих детских платьев. Но твой дедушка... и такая странная его профессия — это же уже не обман? Я хочу сказать, что раз есть такая профессия... это, наверное, вроде фокусника, да?

— При чем здесь фокусы! — из-за спины сидящих подала голос Нюра. Она вышла на крыльцо и слышала последние Татьянины слова. — Все так говорят! Какие фокусы? Отца Кирина бабушка вылечила? Врачи отказались. Контузия, говорили, благодари бога, что еще живой да руки-ноги пока в действии. А как он мучился, моченьки глядеть не было, — Нюра в иптонации, видимо, повторила мать.

— Это же другое дело, меня бабушка всю жизнь травами лечила. То мать-имачеха, то жимолость... да у нее трав пасушено всяких. Я же говорю: странная профессия у Кирино дедушки была, — развернулась на Нюрин голос Татьяна и заметила — лица их совсем были рядом, — как в узких Кириных глазах черной искрой метнулось что-то недоб-

рое и угасло, будто притушенное сумеречной волной.

— У шорцев-мужчин одна была профессия — охота, — терпеливым наставническим тоном заговорила Кира. — А у дедушки был особый талант. Так отец говорит. Шаманов в улусах, по-русски — в деревнях, недолюбливали, боялись. А к дедушке, но рассказам, из-за Порогов приходили. Старики еще и сейчас, кто из них в городе окажется, к отцу заходят. И бубен дедушкин у нас дома хранится. Я дедушку никогда не видела. У нас и фотографии даже нет. Бабушка говорит, что я очень на него похожа, и ей нравится моя профессия. По-моему, в ее воображении должность кинемеханика чем-то схожа с шаманством, — тихо уронила смехок Кира. — Мне и самой иногда кажется это невозможным чудом, когда мы все вместе: и зрители в зале, и я в будке, и ожившие герои фильма, — все мучаемся и радуемся, плачем и смеемся одинаково, будто одну жизнь проживаем!

— А я, между прочим, на курсы кинемехаников из-за бабушки пошла, — вспомнила Татьяна. — Как она не хотела меня отпускать в Сибирь! На мать рассердилась: та не приехала по ее вызову, а написала в письме: «Татьяна человек совершеннолетний, и вправе принимать самостоятельные решения». Деньги прислала, а сама не приехала. Они в поле уходили, не могла она приехать, — уточнила Татьяна, не желая, чтобы ее слова поняли как жалобу.

— Мама твоя — геолог? — догадалась Кира.

— Они с отцом оба геологи. Только мать живет на Кольском полуострове, а отец где-то здесь, в Сибири. Когда я была маленькая, он изредка приезжал на несколько дней. Но бабушка не любит его. По ее словам, — он задурил Ольге (это матери) голову и всем нам испортил жизнь!

— Ты хочешь пойти его? — спросила Кира.

— Зачем? — Татьяна за все время, прошедшее со дня отъезда из дому, ни разу не вспомнила, что отец может быть где-то рядом. Она не сердилась на него, просто ни разу не вспомнила. И поэтому искренне удивилась вопросу. — Я с детства мечтала быть пассажиром. Чтобы ехать и ехать, и ехать. Чтобы везде быть гостем! Это так удивительно — быть гостем! Мне казалось, что гости везде ждут и встречают. Один человек попытался мне доказать, что любой поезд в конце концов приходит на последнюю станцию. Я ему не поверила. Теперь-то я знаю, что он был прав. Хуже того: на последней станции еще не всегда и обратный билет возьмешь!

— Тебя обидел тот, что на блины просился? — догадалась Кира, — и, не дожидаясь ответа, вдруг предложила: — Слушай, переезжай к нам в поселок? Меня завклубом назначили, понимаешь, а ты будешь киномехаником, а? Жить станешь на моей прежней квартире. Я в завклубовскую при клубе переехала. А хочешь, так и вместе будем, комната большая, соглашайся, Таня! Начальник партии — мужик у нас мировой! Ствоим начальством и о переводе договорится, так что и подъемные сохранятся, не в Крым же ты переезжаешь. А геологи и отца твоего помогут разыскать, они все могут, вот увидишь!

В разговор неожиданно вмешалась Юра, тихо присевшая на крыльцо рядом с Кирой, и со свойственной ее возрасту бесхитростностью похвалилась:

— А я вот разыскала папку. Когда он у нас пропал, геологи сказали, что видели его в Амзассе у шаманки. Ой, Кира, — растерянно оборвалась в словах Юра, и виновато заторопилась: — Я же тогда не знала, что это твоя бабушка, а ее все так называли.

— Да и сейчас так зовут, — как бы успокоила девчонку Кира, и — та обрадовалась, может быть, больше всего тому, что ее на равных принимают в разговоре взрослые.

— Когда про отца все выяснилось, мать-то!.. Как она до этого плакала, а тут отказалась идти за ним, и меня не пускает! А я убегом ушла. Первый раз, когда бабушку Карагай увидела, я почему-то сразу ей поверила. Мамка не верила, да никто не верил, я поверила. Пашка по весне у нас пропал, а домой мы с ним уже по оврагу пришли. Я еще тогда в школе много пропустила. Может быть, ты, Кира, помнишь, как твой отец меня к вам домой привез, а я ведь тогда впервые тебя увидела и все удивлялась, что и тебя, и бабушку зовут Карагай, а ты строго-настрого запрещаешь так себя звать!

— Она во втором или в третьем классе училась, — подсказала Кира и повернулась лицом к Татьяне, и опять та увидела короткий всплеск черных искорок в уголке продолговатого ромбика ее глаз, на этот раз высветивших будто улыбкой остроту высоких скул. — Я в школе сама придумала себе имя. Карагай — Кира, — созвучно, верно? А все потому, что мне в классе прилепили кличку «Шаманка», после того, как отец — он тогда еще не был директором интерната, а просто преподавал историю и географию — однажды на уроке рассказывал папу легенду.

— А что это такое? — просунув личико Кире на плечо, вдруг обнаружилась с вопросом Люська. Девчонки, оказываясь, давно уже вернулись на крыльцо и прислушивались к разговору старших.

Кира подняла руку, потренила девчонку по волосам, обернулась к ней вполоборота, приподняла ее и посадила к себе на колени.

— А мы с Катей? — слезливо захныкала Верка.

— А ты иди ко мне, — подвинулась Татьяна, пропуская вперед девчонку с куклой в руках. Опять они оказались все в приветливой тесноте ожидания.

— У нас здесь сосны не растут, — начала Кира, — пихты, лиственницы, кедр, а сосен нет. И только у Шаманова Кам-

ни растет одна. Это необыкновенное дерево. Да и не дерево вовсе, а заколдованная красавица Карагай — дочь Хозяина тайги. Она полюбила бедного охотника. Тайком от грозного отца они встречались на нашем перевале, но вездесущий ветер донес о них Хозяину.

И запрещаю тебе видеться с этим охотником, — сказал отец дочери.

Мы любим друг друга, — сказала Карагай отцу, — и я хочу быть его женой.

— И лучше прокляну свою дочь, чем отпущу ее в охотничий улус! — вскричал в гнев Хозяин тайги. — Он не парит тебе!

Но дочь не послушалась отца. Однажды тайком она прибежала на перевал, где ее поджидал молодой охотник. Не успели они взяться за руки, как загремел гром, и грозный Хозяин тайги предстал перед ними!

— Как ты посмел прикоснуться к руке дочери Хозяина тайги? — спросил он юношу.

— Мы любим друг друга, — храбро ответил тот. — И я вечно буду любить ее! Нет такой силы, которая бы запретила мне, даже и ты, Могучий Хозяин!

— Мне нравится твоя храбрость, — сказал Хозяин тайги, — и пусть люди на века сохраняют память о таком смелом охотнике, а для этого я сделаю тебя камнем, будешь памятником самому себе! — он махнул рукой, и молодой охотник превратился в Шаманов Камень.

Долго плакала Карагай, умоляла отца оживить охотника. Она даже согласилась отказаться от него, не выходить за него замуж, только бы он вновь стал человеком. Слезы ее растопили жестокое сердце отца, и он признался ей:

— К сожалению, и власть Хозяина тайги не безгранична. Чтобы оживить охотника, нужно раздобыть камешный огонь. А он хранится в солнечном камне глубоко под землей. Я сам давно мечтаю об этом богатстве, но Отец Солнце бережет его для кого-то другого.

И пока тот не объявится на нашей Земле, камешные чары не сойдут. Когда это будет, не знает никто! Поэтому перестань плакать, возвращайся в родное урочище, и я найду тебе среди владык озер и рек подобающего жениха!

И тогда Карагай опустилась на колени перед холодным камнем. Прикоснулась рукой к нему, потом вскинула руки к небу:

— О всемогущий Отец Солнце! Пусть я рядом с любимым стану деревом, чтобы мог он слышать, как шелестят на ветру мои ветви-руки, и мы вместе с ним станем ждать назначенного тобой часа!

— Опомись, дочь! — вскричал Хозяин тайги. — Разве ты не знаешь, что только Великий Шаман может разговаривать с Отцом Солнцем? Не навлекай на себя и на своего отца гнев!

Но Отец Солнце не рассердился на девушку. Ему ли было не знать, что такое настоящая любовь?! И он горячим лучом благословил Карагай! На глазах всех охотников, наблюдавших издали за происходящим на перевале, вскинутые руки Карагай превратились в ветви, покрытые зелеными иголками, а ее прекрасное тело — в ствол, одетый в золотистую кору.

В горе дождливой грозой загремел Хозяин тайги. В ужасе бежали от перевала охотники. Только один старый Майтак остался подле холодного камня, у подножия сосны. Карагай — по-русски так и значит: «Сосна».

Молодой охотник был сыном старого Майтака. Никто не помнит, сколько с тех пор прошло лет, но все старшие сыновья в роду Майтаковых были шаманы. Самые важные камлания они всегда совершали у корневца Великой Сосны, возле Шаманова Камня...

Громкое лошадиное ржание в близкой от сидящих на крыльце темноте всколыхнуло всех. Девчонки испуганно взвизгнули. Вслед за ржаньем послышалось добродушное ворчанье Григория.

— Узнал, шельма, дом-то, к своему углу у каждого радость! — лошадиная морда раздвинула темноту возле ограды.

— Папка! — соскочили обрадованные девчонки с крыльца и кинулись отворять ворота.

— Ой вы, пугалицы, мои помощники, — расчувствованно-хмельно, с телеги, закричал Григорий, — а я вам медку да с сотами привез поладковаться! Мамка с братишкой у шаманки пока гостевать остались, а отец-то ваш служивый, значит, умри, а будь, и всё!

— А у нас Кира гостит, — обтывила въехавшему в ограду отцу Люська, — ой, каких она нам кукол наколдовала, папка!

— Майтакова? Вот те клин, как хорошо! — соскочил с телеги Григорий. — Постойка-ка, родимый, — натянул он вожжи и подошел к крыльцу. — А я-то от бабки твоей, Кира. Коську отвез. Врачи говорят, грыжу резать, а каво в нем резать-то? Ну так ты, молодец, сейчас чай с медком бабкиным попьешь! Нюр, сыми с телеги туесок! А тут и еще гость-то? Никак Соснина? Это для пригляда за девками тебя Лидия парядила?

— Да они, дядя Гриша, у тебя и без пригляда молодцы. Нюра нас такими блинами угощала!

— А это правду ты говоришь, лучше моих пету, — сграбастал в охапку Люську с Веркой Григорий, — ну так и ты с нами чай-то пить! Я коня распрягу пока, а ты, Нюр, хозяйствуй! — распорядился Григорий.

Заполонившая двор суета по случаю Григорьева возвращения как-то отодвинула Татьяну от крыльца, и она, сторонясь света чужой радости, неприметно для всех тихо ушла в калитку.

Лидия свала. И Татьяна, осторожно разобрав свою постель, тихо опустилась в сон. Но как потревоженная глубина речного омута первоначально выталкивает на поверхность случайно упавшего в него, так сорвавшись с пережатых кам-

ней впечатлений дня, всплыла над подушкой бессонная память.

Она представилась вначале ликом бабушки. Не тем ликом со строго сжатых губами и непререкаемым взглядом, тень которого хранит фотография в Татьянинном чемодане, а живым, с печатью беспомощной озабоченности и сострадательной любви, лицом, которое Татьяна видела в последний раз через глухоту окошка железнодорожного вагона.

По мнению бабушки, Танюшка была несчастным ребенком. По мнению соседей и членов комиссии горисполкома, как сказала директорша школы, Татьяну испортило «свободное воспитание». Зато в глазах мальчишек, что вечерами собирались на вокзальной площади к московскому поезду, Тата слыла «клевой чувихой»! С этим же поездом попадали новые слова и фасоны одежды в маленький городок, в котором жила Татьяна с бабушкой в домике за оврагом, за узеньким мостиком, в окружении старого сада. Бабушка копалась в грядках, выращивала витамины для ребенка и раз в год ходила вместе с Танюшкой встречать московский поезд. Это когда приезжала мама.

Со временем Татьяна стала одна ходить на вокзал. Только она встречала и маму, и папу. Папа останавливался в гостинице, куда, днем разрешалось заходить и Татьяне. Раза два он сам приходил в домик за оврагом, приносил подарки, игрушки. С бабушкой разговаривал очень вежливо, тихо. И хотя он так и не признался в том, Татьяна была уверена, что бабушку он боялся. Татьяна же его никогда не боялась, поэтому и ходила встречать отца.

— Ты любишь меня? — спросил однажды отец, когда они с ним обедали в ресторане гостиницы тайком от бабушки, отец просил не расстраивать ее. Он был очень высок и худ, с большими, будто раз и навсегда обиженными глазами.

Татьяна немного чуждалась его. Она

не знала отцовских привычек, в нем для нее все казалось неожиданным, любопытным, и с ним всегда было нелегко.

— И люблю тебя, как Деда Мороза! — призналась Татьяна. И запомнила на всю жизнь, что глаза отца сделались совсем печальными, он долго качал головой в раздумье и с удивлением, но без радости сказал:

— Ты совсем уже взрослый человек, Танюха! — с тех пор они с ним не виделись.

«Ты совсем уже взрослая!» — сказала однажды и мама. Она по-прежнему приехала каждую осень, когда клены на привокзальной площади становились рыжими, а в сквере, где вечерами на маленькой эстраде играл мальчишеский квартет, кленовые листья лежали на дорожках мягко и густо.

— Ты уже совсем взрослая, Танька! — удивилась мама, когда обнаружила на перроне невысокую сероглазую девушку в черном, облегающем фигуру платье и в туфлях на каблучках.

— А ты все такая же! — обрадовалась неизменной материнской красоте Татьяна, и на этот раз подставила ей для поцелуя щеку.

— Помаду боишься размазать? — обнимая дочь, весело догадалась мать и, оторвавшись, поглядела впервые на нее каким-то изучающим взглядом, по-женски отметив и со вкусом сделанную прическу, и модные деревянные бусы. — А и тебе опять куклу привезла, смешно? — виновато сообщила мать, и Татьяна впервые ощутила страшное чувство: будто она не встречала, а провожала ее. И чтобы не заплакать, спросила:

— Она закрывает глаза? — и, улыбаясь только губами, добавила: — Та кукла, которую ты привозила в прошлый раз, уже не закрывает глаза. — Может быть, Татьяна и не удержала бы слез, если бы в это время не появился Борька. — Познакомься — это Борис, — сказала Татьяна матери. И когда та протянула ему руку, Борька — он, наверное, долго ре-

петировал этот момент — по-кипошному непринужденно поклонился и сказал:

— Очень приятно! Тата говорила мне, что вы должны приехать.

— Тата? — непонимающе спросила мать, потом засмеялась, — ну да, конечно, Тата. — А Татьяна заметила, что, пожалуй, матери больше, чем ей самой, хотелось заплакать.

Мальчишки, которые вечерами собирались в сквере на привокзальной площади, дрались из-за права танцевать с Татьяной, а матери девчонок-соклассниц запрещали тем дружить с нею и попеременно жаловались директору школы. Директор так и сказал Татьяне:

— Соснина, родительницы возмущены. Они требуют мер! Соснина, это ужасно! Ты ходишь в обнимку с парнями по городу, так мало того, целуешься у всех на глазах!

Это случилось незадолго перед матерним приездом, когда Татьянина последняя школьная осень уже торила дорогу желтыми листьями на том же вокзальном перроне, где еще майским послеэкзаменационным вечером, мигнувши зазывным огнем московского поезда, поманила Татьяну тогда в ошеломляющем ослеплении детского восторга не узнавшая ее жизнь.

— Мне кажется, я могла бы на всю жизнь поселиться в вагоне. Дорога — это же каждый час новое! А главное, пассажир, пока он в дороге, всегда ведь чей-нибудь гость, даже если его нигде не ждут, он все равно гость, потому что едет куда-то! — мечтательно объявила Татьяна смотревшим вместе с нею вслед поезду подругам. — Я хочу быть пассажиром!

— Но быть пассажиром, к сожалению, можно только до вокзала. Всякий поезд приходит на последний вокзал, откуда он должен возвращаться! — возразил Татьяне мужской голос.

От неожиданности кто-то из девчонок испуганно взвизгнул, а Татьяна, в досадливом повороте узкого плеча кинув воз-

мученный презрением к пезвапому комментатору взгляд, вдруг увидела заслонившую ей весь мир добродушную спину его глаз, и прощающая улыбка стерла с ее губ напряжение неприязни.

— А разве возвращение — не та же дорога? И почему бы из возвращения вновь не вернуться? — как будто продолжая разговор, возразила Татьяна, но не ноты спора выстраивали гармонию ее слов, отяжелевших вдруг от непривычной грузности невысказанных мыслей.

Он вместо ответа развернул навстречу Татьяне свою большую красивую ладонь, в которую Татьяна, не задумываясь, опустила узкую растопырку девичьих пальцев, и тогда, забрав их в твердую жмень, он назвал свое имя, которое и без того у всех девочек городка не выходило из разговора.

— Я вас запомнил с того дня, когда вручал вам грамоту победителя на городском смотре школьной самостоятельности, — медленно отпуская Татьянины пальцы из своей ладони, сказал он.

Запомнила тот день и Татьяна, потому что как раз тогда начались разговоры о новом директоре Дома культуры.

— Вы помните, я вам сказал, что у вас талант? — Его твердые крепкие пальцы обручем охватили укрытый широким рукавом платья Татьянин локоть, острием которого она впервые в жизни почувствовала необыкновенную силу чужой руки.

Эта сила, невидимая для подруг, но головокружительно ощутимая для Татьяны, приподняла девятиклассницу над весенней зеленью детства и из последнего школьного лета, по радужной путанице улыбок души и любопытного трепета радостно протестующего тела, ощутила в осеннюю будничность неожиданных обид, неотделимой половиной того круга почей и дней, имя которому — жизнь.

Калитка на задах бабушкиного сада, охранительница счастливой Татьяниной тайны, была единственной свиде-

тельницей ее слез. Даже луна, пожалуй, не могла их видеть, потому что плакала Татьяна, сидя в траве, опершись спиной о ствол старого клена, ухом вылавливая из почтиш порохов исчезающий ритм его шагов.

— Мне кажется, что железнодорожный кассир уже выписал мой плакатный билет, — грустно (Татьяна научилась распознавать любой оттенок в его голосе) сострил он в ответ на ее слова о том, что ей кажется: с ним что-то случилось.

— Как это? — не поняла Татьяна. — А я? Ты разве не помнишь, как я мечтала стать пассажиром? Правда, это все было до тебя! — Татьяна простодушно воображала их перасторжимую будущность.

— Ты зеленый лепесток, а я жухлый лист, и чувствую уже подталкивание осеннего ветра. Это грустно, но такая жизнь, понимаешь? — с великой скорбью сказал он. И Татьяне стало его так же жаль, как было однажды жаль бабушку, бессонно мучившуюся от зубной боли.

Поэтому Татьяна и заплакала, а он вдруг исчез, внезапно, как и объявился когда-то на железнодорожном перроне.

Целых несколько дней и вечеров, чем очень растревожила бабушку, всегда неодобрительно ворчливо, между прочим, встречавшую поздно возвращающуюся внучку, — Татьяна не выходила за ограду, находя в грустном одиночестве веселое ожидание возвращения. Но постепенно смутное беспокойство, схожее с ощущением какой-то потери, стало мешать ей и наконец вытолкнуло вечером на перрон, где неожиданно ей повстречался Борис, вернувшийся с каникул одноклассник, с седьмого класса неизменный и верный Татьянин рыцарь. Он радостно разудбался, веселый, загорелый, по-взрослому крепко пожал протянутую Татьяной руку и, обманувшись вспыхнувшим блеском ее глаз, не помалычишески нежно коснулся ладонью ее плеча. А Татьяна смотрела ему за

спину. Навстречу им шли двое. Он осторожно вел женщину под руку, и Татьяна почти слышала, как он, боясь разбудить тихие слова, шептал их в ее уши, на мочках которых дрожали капельки сережки.

Татьяна улыбнулась одной только пятачком верхней губы. Двое уже подошли и совсем близко.

Борь, поцелуй меня! — озаренная еще не понятой ею обидой ревности, потребовала Татьяна.

Борька, лучший школьный боксер, мальчишка с остро развитой реакцией, шмыгнул, потом губы его, испуганные ярким дневным светом, быстро коснулись сухих, сжатых Татьяных губ. Прохвывая, случившиеся рядом, ахнули. Двое, орожденные взаимным вниманием, равнодушно прошли мимо.

Верхняя пятачок Татьяной губы подмигивала в уголках. Серые глаза смотрели растерянно. Борька в них ничего не заметил, потому что не знал, что когда в них смотришь близко-близко и очень долго, они светятся майской зеленью. Не знала этого и сама Татьяна, пока тот ей об этом не сказал. Он умел во всем находить необыкновенную радость. И так же, как женщине, которую только что провел сквозь Татьянину бою, он дарил ей красивые слова, которые, как внезапно ощутила Татьяна, имеют свойство превращаться в леденящий ветер.

Это потом был разговор у директорши школы по поводу поцелуя, встреча с матерью, привезшей ей в подарок куклу с закрывающимися глазами. Это потом она с Борисом танцевала на выпускном вечере в школе и целовалась с ним в охранительном окружении девочек и мальчишек на перроне, провожая его на службу в армию, уже закончив к тому времени курсы киномехаников. Она работала в том же самом Доме культуры, где только для нее одной напоминанием о невозвратном лете стоял у нового директора на столе письменный

прибор с чугунными вздыбленными лопатками над всегда пустыми чернильницами.

Но все эти годы, вплоть до того самого дня, когда, услышав со сцены ДК выступление веселого агента по оргнабору, Татьяна неожиданно надумала поехать в Сибирь (на самый конец географической карты!), все это время она жила в каком-то раздражительно-обманном состоянии ожидания, недоверия, в ощущении непонятной потери.

— Горь ты мое горькое! Сиротинушка несчастная! — причитала бабушка на перроне во время проводов. Но Татьяна не жалела ее в тот момент. Она изнемогала от нетерпения скорее почувствовать себя свободным пассажиром, как ей мечталось давно, почувствовать себя наконец гостем, в роли которого так просто и приятно быть всегда.

Однако в долгом, через всю Россию катящемся житье, скоро распознала она неудобства гостевой жизни, разглядев странную разьединенность вагонного многолюдства. И замерещились ей во встречных станциях и полустанках будто узнаваемые уголки, фронтоны, ступеньки и киоски, в суетливых вокзальных женских фигурах вроде бы замелькал бабушкин платок, в несенном беспешабые праздных вербованных услышалась боязливая тоска неизвестности и одиночества.

Такой в душе испуганной, но на вид дерзкой обьявилась Татьяна на разъезде, где будто бы в ожидании ее таилась перастраченная сердечность Лидии, незаметно взбодрявшая Татьяну, как накапливаемый исподволь в растущих стеблях таежных трав лекарственный сок оживляет пастоящую на них воду.

Конечно, мозоли, разоженные черенком лопаты на Татьяных ладонях, к вечеру первого дня работы на насыпи («Ты гляди, как бы от этих кровей краска с ногтей не полиняла», — ехидно заметила Клавдия Торба, откровенно недоброжелательно встретившая появление

повенской работницы в вагончике, на Лидиной половине), казалось, навсегда исковеркавшие жгучей болью руки, омытые Татьяниними слезами, зажили бы и сами собой, без Лидиных примочек и бинтований, но эти, поутру мешавшие надевать рукавицы-«верхонки» марлевые повязки будто попестовали оголенную одиночеством душу, оживили тем самым естественным упорством, с каким пачинающий ходить ребенок, улавливая, поднимается в слезах, чтобы сделать новый шаг, находя поддержку своему мученичеству в обнадеживающем сопереживании матери.

За полгода жизни на разъезде в Татьяне многое изменилось, но, тем не менее, сказывалось отсутствие материнской опеки и постоянного окружения потока бабушкиной жалости. Поэтому Татьяна и в Лидии с близорукостью эгоистичной наивности разглядела прежде всего нечто от бабушкиных иллюзий по отношению к ней, почему и уклонялась всегда с ироничным высокомерием от разговора о Четверукове.

На крыльце Григорьева дома, слушая Кирину сказку о шаманах, Татьяна подсознательно не упускала из слуха и вида утихавшие вагончики, словно сплывавшие в опускающейся с таежного перевала темноте. И даже когда звуки ее шагов вспугнули сердитым эхом откликнувшуюся в кустах птицу, Татьяна ловила слухом другое, ожидаемое движение. Она, прежде чем подняться по ступенькам в вагончик, задержалась и только потом уже тихо открыла никогда не запиравшуюся дверь, не догадываясь, что в изголовье кровати ее поджидает долгий и назойливый шенот бессонницы. Он возник тоном ее последнего разговора с Четверуковым, и Татьяна покаянно засомневалась, целесообразна ли та решительность, с которой она в присутствии Киры нагрубила Алексею, тайно уверенная, что он все-таки проявит настойчивость.

Именно так это случилось впервые в

песенном хмеле затухающей праздничности Клавдиных именин. Замешанная на добродушной жизнерадостности и определявшая особое место Алексея в разъездовской жизни настойчивость в начале вызвала в Татьяне упрямое сопротивление. В жесткой, мгновенно передавшейся ей взволнованности поцелуя открылась для нее та недостающая частица радости, которая и наполнила хрупкость бытия уверенностью и бесстрашием осознания слабости и силы женской сути.

Любимая, хотя обжигающий ладоши огонь черепка давно уже врачевательно загасила ежедневная терпеливость мозолей, все-таки не теряла своего свойства к концу дня обрастать тяжестью. В минуты возвращения с насыни она часто выблискивала в свете солнца на плече Алексея, шагавшего рядом с Татьяной.

Острозыкая разноголосица разъездовского хора: «Ой, на цветке блестит росинка, под ним немятая трава, а у девчонки над водою да закружилась голова!» — тактично и боязливо замирала перед робкой порослью всегда желанного, но с постоянством закатного луча ускользающего счастья.

По об этом в недалекой от вагончиков окрестности: в безмолвии напоротников и черемух, в вечерней, пустующей обнаженности насыни, тянущейся в таежные буреломы ожиданием серых рельсов, которых еще ни разу не коснулись ободья колес, меньше всего думали Татьяна с Алексеем. Однако выходило так, что сообщая и каждый из них для себя, наособицу, распознавали в жизни что-то такое, что однажды все-таки вынудило Татьяну на разговор с Лидией о любви, так неожиданно заглушенный слезами.

Вчерашним вечером, когда они с Алексеем сидели около дальнего Григорьева стога сена, а в нескольких шагах от них на пеньке вдруг вскинулся на задние лапки юркий полосатый зве-

рек и, как-то вопрошающе подергав по сторонам остренькой мордочкой, упал и будто растворился в шуршании листьев. Татьяна, не зная почему, спросила:

— А ты веришь в любовь? — перед этим они целовались. То есть, как это бывало всегда, Алексей опустил ее голову на тугую изгиб левой руки, отчего у Татьяны сами собой закрывались глаза. А когда его губы прерывали ее дыхание, их постоянно изменчивое напряжение улавливалось ее глубинным, каким-то клеточным слухом и безошибочно распознавалось ответным отголоском. Никогда Татьяна не задавалась подобным вопросом, но отчего-то, успев еще увидеть веселого зверька, выдохнула невзначай:

— А ты веришь в любовь? — Она успела отодвинуться от Алексеевых рук. На Алексея она не глядела, ожидательно держа взгляд на пеньке, смоляной сучок которого будто столкнул их пазилды, капелькой смолы мигнув задушенному закатуному лучу.

И, Таня, без обмана, — под Алексеем, ломаясь, затрещали сухие стебли, дунисто брызнув в ее сторону намятью лета. — Не как другие, мозги компостировать не люблю. Жениться я ведь не обещал, верно? Куда хомут надевать, если и еще и стойла-то своего в жизни не определил? А тебе зачем? Так, что ли, нам плохо? Ну, если ты что-нибудь толкаешь — опять хрустнуло сено, и хотя на этот раз Татьяна повернула лицо в сторону Алексея, воздух она хлебнула уже без травинного настоя.

— Дурак ты, Ленка! — глядя в добродушно-веселые глаза парня, совсем не зная, а как бы с удивлением, сказала Татьяна и резко поднялась на ноги. До самых выгончиков Алексей что-то говорил, но она не откликалась. И днем на пазыни, сторонилась его, так и не дав ему посты свою лопату, увязавшись будто бы и очень интересующий ее разговор с Лидией.

Неспроста и Лидия позвала с собой Татьяну в дом Григория, хотя и словом не обмолвилась о своей догадке, то ли жалея, то ли радуясь случившемуся. Татьяна же сама не осознала по-настоящему своего порыва.

Алексей, конечно, услышал в ее словах обиду, девичий страх, требовательно посягающий на его холостяцкую жизнь.

Между тем Татьяна не рассердилась, не обиделась, а из-за Алексеевых слов как бы взглянула на себя сторонним взглядом. Ей, ослепленной покорностью на ласковую жадность Лешкиного тела, отзывчивостью нежности, вдруг открылась житейская непутевость их отношений.

И то, чем она молчаливо гордилась перед всеми до этого, представилось ей язвительностью осуждающих взглядов, недобрых намеков, не столько, может, виденных и слышимых ею, сколько придуманных уже пристыженным воображением.

Но когда за углом Григорьева дома она услышала голос Алексея, а затем и увидела его самого, веселого, как всегда, Татьяна уже ни о чем не помнила, а надменная неприязнь ее слов, обидевшая Алексея, просто вырвалась игрой каприза, за которым, как луч солнца за серостью тучи, пряталась прощающая покорность. Поэтому она после приезда Григория так заторонилась к вагончикам, покойная тишина которых потом горечью разочарования, непонятной маетой бессонницы долго не отпускала ее в сон.

А под утро, когда темень уже будто вылиняла в мутноватую сплыву, сыпануло в стекло пригоршней канель с неба, и зачастил перестуком дождь.

Татьяна сквозь сон слышала, как поднималась Лидия, о чем-то в коридорчике переговаривалась с Клавдией, потом, видимо, затапливали печку. Ей не то чтобы не хотелось просыпаться — она просто не могла осилить приятное забытье

сна. Ещё немного, и Лидия позовет, дернет за одеяло, как бывало всегда. Но Лидия не звала, в их с Клавдией голоса вмишался хрип Григория, и тогда Татьяна проснулась. Лидия заглянула в дверь:

— Можешь отлеживаться! Григорий по случаю дождя отгул объявляет до обеда. Только обложило так, что просвета не видать, как бы не на весь день. У нас тут такое по осени частенько случается. И на неделю, бывает, зайдет. Ну да мы рукодельем займемся, вязать стану тебя учить, хочешь?

Но запясться вязаньем им не удалось. Часа за два до обеда сквозь дождевую морось вдруг пробилися железный стук колес на линии и не укатил в шихтовые дали, а призывным гудком затормозил на разъезде, в момент выманив под дождь всех до одного поглядеть на редкое чудо. В дрезине, оказалось, приехала из города целая делегация во главе с заместителем председателя стройкома, чтобы провести собрание.

Поскольку подходящего помещения для того случая на разъезде не было, а с «открытого неба» лило как из ведра, городское начальство приняло предложение Григория разместить у него под навесом, откуда в снежном порядке, под недовольное кудахтанье кур, была переселена в стайку вся живность, за исключением боровка, с протестующим визгом убежавшего куда-то в кусты. Скамьи соорудили из пня и шпал, стол для президиума, принесенный из избы, покрыли зеленым атласным покрывалом, так как кто-то правильно подсказал, когда Нюра застала его было клеенкой, что это сразу напомнило вроде бы большую складчину, чем, конечно, компрометировалась серьезность момента.

Зампредседателя стройкома начал с того, что до удивления развеселил разъездских, сообщив им необыкновенную новость: оказалось — бригада Чичинакова завоевала в соревновании за прошедший квартал первое место!

Работали вроде бы как всегда. Кладили один к одному, казалось, не имеющие конца рельсы, ворочали гравий — и на тебе!

Ваш трудовой энтузиазм позволил нам значительно скорректировать планы, — говорил зампредседателя стройкома. — Через две недели на ваш трудовой аванпост высадится десант основного контингента строителей. Они начнут возводить промбазу, капитальное жилье. С тем, чтобы открыть экскаваторам дорогу к углю, весной должен быть поднят первый ковш вскрыши!

Удивительную и совсем не похожую на теперешнюю жизнь разъезда рисовал перед восторженно ошарашенными чичинаковцами — так он их назвал — зампредседателя стройкома. Но еще прежде самому Григорию был вручен вымпел-треугольник с написанными на нем золотом словами: «Победителю в социалистическом соревновании».

После короткой речи зампредседателя стройкома началось вручение премий авангарду победителей. Каждому из них в собственные руки был даден конверт. Премияльную добавку к зарплате, прибавившую вслед за стопроцентным выполнением плана, бухгалтерия всем начислила согласно тарифной сетке, а это было уже особое отличие заслуг.

И, конечно, первому после Григория конверт был вручен Алексею Четверукову, а справедливость этого акта разъездовцы подтвердили веселым всплеском аплодисментов, заглушенных бравурными аккордами аккордеона.

Алексей от имени трудящихся передового разъезда сказал речь. Григорий, еще получая вымпел, что-то такое пытался выговорить, но слова чуть ли не до красного юта на лице никак не выпадали из Григорьева рта, и выручил Чичинакова все тот же аккордеон, веселым маршем затепливший бригадирский конфуз.

А Четверуков сказал и о преодолении трудностей, и о слаженности коллекти-

на, и о том, что дело, конечно, не в деньгах, но если учесть отдаленность от промышленных центров, где хоть каждый день ходи в кино, пей пиво и мойся в коммунальной бане, хотя чичинаковская баня по-черному, безусловно, имеет особую прелесть, подчеркнул Четверуков, то, может быть, еще и на все это надо бы поглядеть с особой стороны!

Зампредседателя построюкома захлопал первым, как бы подчеркнув значение сказанного Алексеем, и объявил о открытии торжественной части.

Оказывается, приготовлена была вторая, не менее занимательная часть собрания! Норов у сибирской осени перекидистый. Пока, под чичинаковским навесом разводили тары-бары, с перевала свалился пенибкий ветерок, порастолкала тучи, и выветилось будто бы выступление к предстоящему концерту артибригады солнце.

Артисты — их было трое: аккордеонист и две певицы, — свое выступление начали с куллетов, прославляющих Григория: «Не зря медали на груди у Чичинакова сверкают! Он вражью нечисть покорил, теперь тайгу он покоряет!». «Девичья сибирская пляска», может быть, немножко проигрывала оттого, что стук каблучков у девчат не прослышались, под навесом пола-то не было! Зато уж полный восторг вызвали стихи про любовь, прочитанные Валентиной Малеинной — одной из артисток, резвой толстушкой, оказавшейся еще по совместительству и буфетчицей!

Буфет вконец разволновал разъездовских. В помощь Валентине Григорий определил Алексея. Под его руководством с дрезины принесли картонные коробки с конфетами и мандаринами, ящики с шампанским и пивом «Тасжное».

В ярком концертном платье-сарафане Валентина с прибаутками открыла торговлю, а Четверуков по обязанностям первого помощника находился подле нее.

Когда «мандариновые» страсти, пристуженные пивом и шампанским, не-

много приутихли и аккордеонист в широком вальсе раздвинул меха, Алексей, наполнив стакан золотистой пенистой жидкостью и протянув его Валентине, сказал:

— За столом у нас, сами понимаете, никто не лишний! — Валентина выпила, зажмурившись, а когда приняла из рук Четверукова конфетку, лукаво улыбнулась, так кротко, будто бы нерешительно, и сострожилась. Зато у Алексея, казалось, напроць прожгло губы улыбкой. — За кассу у нас вам волноваться нечего, — продолжал по-шефски онекать гостью Четверуков, — и поэтому позвольте пригласить вас на танец!

На приглашение артистка-буфетчица откликнулась охотно, улыбаясь всем лицом. Татьяна рядом сумрачно и тоскливо доедала в одиночестве третий мандарин. Изначалу рядом с ней была Лидия, но ее отозвал Григорий, что-то пощипал на ухо, и она заснепила в избу, видимо, помогать Григорьевой жене в хлопотах по праздничному застолью. По своему трезвому разумению, Григорий не мог просто так отнестись редких и дорогих гостей.

Музыка между тем уже заняла частушечным переплясом. И Клавдия Торба потянула на круг заместителя председателя построюкома. Он шагнул, предварительно расстегнув пуговицу пиджака на объемистом животе, потом как-то примеряясь, топнул одной ногой и, неожиданно легко подпрыгнув, зачастил такой частой каблучковой дробью, что Клавдия пришлось вдогонку кшнуться. Быстро все-таки она вошла в ритм, и, по-молодому озорно дразня, заголосила: «А я надену юбку клеш, кофточку в горошинки, мы не девки, мы не бабы, а мы просто брошенки!».

Отозвался и тоже звонко зампредседателя построюкома: «Я паринька молодой, лес рубил густой, густой! Подпеньком нашел миленку, на почь снес ее домой!».

Четверуков с новой знакомой на круг

не выходили, но разговор у них, было видно по всему, шел о чем-то веселом. Татьяна слышала, как взойкнула смехом, бесечно откинув назад украшенную блестящей картонной короной голову Валентина, хотя они стояли в противоположном уже от нее углу, возле широкого лиственничного сутунка-обрубка, приспособленного под буфетную стойку.

С самого утра, когда все разъездовское население под дождем встречало дрезину, Алексей не то чтобы слова не сказал Татьяне, а вообще будто бы не замечал ее. Татьяна догадывалась, что это месть за ее вчерашнюю выходку на Григорьевом крыльце, и готова была первой сделать шаг к примирению, однако подчеркнутое, на глазах у всех веселое верчение Четверукова вокруг приезжей артистки-буфетчицы остановило ее намерение. Она все более хмурилась, раздражалась и в конце концов ушла к себе в вагончик, между прочим заметив, что ее уход никого не обеспокоил.

Руки под голову — лежала Татьяна поверх одеяла, слыша перазборчивые, приглушенные звуки, теперь как бы тень музыки, голосов. Им в отражение осветилась и память-тень жизни в Белозерске, тот самый вечер на вокзальном перроне с испуганным Борькиным поцелуем. На видение уже наслаивалась более близкая звуковая тень — Алексеевы слова: «Я, Тань, не как другие, я без обмана!..»

И представилась ее теперешняя жизнь самым настоящим обманом, как красная спелость калиновых ягод, затаившая под зрелым блеском неистребимую горечь.

Как серый язык снега притаенно лежит все лето где-нибудь на дне глубокого распада в тени корневищ, так в уголке Татьяниной души скрыто стыла та растерянная боязнь перед жизнью, которая еще в железнодорожном вагоне, везущем ее в леведомую Сибирь, вдруг разбудила однажды ночью. При-

гретая по-матерински заботливой Лидией, укрытая лаской Алексеевых рук, боязнь эта в конце концов дала о себе знать слезами обиды.

Татьяна их не вытирала, и, скатываясь к подбородку, капельки срывались с его остренького закругления, неприятно холодя шею. И все-таки течение слез промыло в беспросветном отчаянии Татьяны робкую светлую полоску. Она засветилась надеждой ее вчерашнего разговора с Кирой, пригласившей Татьяну в поселок работать киномехаником. Иллюзорная, но всегда обольстительная тяга воображаемой жизни подняла Татьяну с кровати, подвигла к действию.

Она вытащила из-под кровати чемодан, открыла было его, но, захлопнув, задвинула на место. Сдернула с плечиков над кроватью платья, сунула их в маленькую балетку, где у нее хранилась косметика, письма, туда кинула деньги, полотенце, надела брюки, кофту, обула белые резиновые сапожки, купленные в поселковом магазине и еще ни разу не ношенные. Постояла немного в раздумье. Вновь вытащила чемодан. На самом дне отыскала прозрачную накидку, лежащую там со дня приезда, и ее закинула в балетку. На глаза Татьяне попался старый номер «Огонька», и новая мысль толкнулась в мозгу. Из балетки она достала губную помаду (карандаша под рукой не оказалось) и долго — помада плохо приставала к бумажной гладкости — вычерчивала слова: «Я ушла в поселок». Такие записки она всегда оставляла для бабушки, тайком исчезая по вечерам из дома.

Несколько раз она перечла написанное, положила журнал на Лидину кровать и пошла из вагончика. Чтобы попасть в лог, по которому поднималась тропинка к большой дороге, нужно было обогнуть насыпь, перейти железнодорожную линию с замершей дрезинной. Невнятная колея — по ней ходили и ездили печасто — заманивающе стала под ноги, тороня к свертку у старого

нии, за которым уже как бы и кончалась разъездовская жизнь. И пенёк, как оказалось Татьяне, замаячил впереди — высокий острооценный обломок старой застывшей, вроде бы межевой столб между оставляемой и новой неизвестной, но желаемой жизнью.

Лидия заметила Татьянино отсутствие, когда тесно, в веселом шуме, стали раскладывать в Григорьевой избе обедать. Удучив момент, она вопросительно шепнула на ухо Четверукову. По тому, как Алексей, недоуменно пожав плечами, даже не остановил разговор с внимательно слушающей его приезжей артисткой, Лидия догадалась о их с Татьяной разговоре и подумала, что та запряталась в вагончике. Поприветствовавший гостей хозяин дома, прежде чем выпить, выговорил Лидии:

— Что это дисциплину рушите-то, Татьянашка чего запозднилась? — и распорядился: — Люська, сбегай поклечи, скажи, что сердчаю. Не на именины собрались, люди, на общее мероприятие, скажи!

Но времени возвращения Люськи восторженная разноголосица застолья настолько сосредоточилась вокруг пельменей из медвежатины, что даже Лидия отмахнулась от девчонки, пытавшейся объяснить ей подробности поисков тети Тани,

Провожали гостей песнями, частушками, и дождь, заморосивший вновь, не в силах был остудить всеобщего веселья. Долго и благодушно мокли еще разъездовские, глядя вслед увозящей неожиданный праздник дрезине, пока серый занавес дождя не укрыл окончательно действую. Тогда обнаружилась зпобкость мокроты, тогда заторопились, побежали в вагончикам. В коридорчике Клавдия, отгонявая слякоть, вспомнила:

— А Танюха-то чего взбрыкнула, Лид? — и вместе с Лидией сунулась на их полонину. Пустой закуток, еще освещенный жидким предвечерьем, испуганно остановил их.

— Где же она шпындает? — недоумен-

но задумалась Клавдия. Отчего-то на женщин нашла боязливость, они осторожно вошли в комнату, и хотя все углы сразу в малом пространстве обьялись взглядом, тем не менее, все же какое-то время поисково оглядывали вещь за вещью. Так же осторожно, ни слова не говоря, подошла Лидия к своей кровати, кинула на стол валявшийся на одеяле журнал, села, обводи еще раз глазами комнату. И тут взгляд ее застопорился на журнальной обложке. Она взяла его в руки. Краснo и пугающе бросился в глаза излом букв: «Ушла в поселок».

— Ну и гад Лешка, — вырвалось у Лидии, и она протянула Клавдии журнал, — допек-таки девку!

Четверуков будто ждал за дверью сигнала для своего выхода. Едва Лидия произнесла его имя, как он, белозубо щерясь, высунулся из-за косяка:

— Все дома ваши? Не падо ли вам папих?

— Ты, кобель, чего, не изнахратил ли девку? — грозно вскрикнула Клавдия. — Говори, отчего она в тайгу уехала?

Опешивший парень не успел даже потерять улыбку. Только она в уголках губ обидчиво закруглилась книзу.

— Откуда ты, Клавдия, сорвалась? — пашел он все-таки слова.

— От меня, что ль, Танька уехала? — съязвила Клавдия. И тогда только Алексей обнаружил, что Татьяны нет в комнате.

— Как же так? — с вопросом перешагнул он через порожек, двинулся было к Татьяниной кровати, но остановился около табуретки и сел. А в дверях уже гудел Григорий.

— Это, бабoшкн, что же получается, перед руководством, я вас спрашиваю?

Ему долго не могли растолковать случившееся, слишком тяжёк оказался для Чичипакова этот необычный день. Незаметно все способное передвигаться население разъезда, включая Люську с Веркой, втиснулось в вагончик, и там до глубокой ночи обсуждали всякие пред-

Положения Татьянинного ухода. В итоге сошлись на мнении, что страшного-то ничего и не произошло, если, конечно, она не заплутает, но опять же по размышлениям выходило, что плутать-то особо и негде, потому что как ни мотайся, а лог-то обязательно должен вытянуть к большой дороге.

В разговорах все обращались к Лидии, она же больше отмалчивалась, непонятно для себя переживал какую-то личную обиду.

Лидия проснулась раньше обычного, внезапно, как пробуждаются от стука, хотя не было слышно даже дождевого шороха за окном. Не было обыкновенной при просыпании невнятности, беззаботности мысли. Наоборот, ясно и отчетливо Лидия поняла, что Татьяна заблудилась. Поняла это осознанием тревоги и вины. В осеннем переплете травостоя опытному таежнику нелегко ориентироваться, а чего взять с городской девчонки, не ходившей одной по тайге дальше Григорьевских покосных угодий, да и то под Лешкиной опекой?

«Ну как я обо всем вечером не подумала, — корила себя Лидия, — почему не сообразила снарядиться вдогонку?» А главное, чего она не могла себе простить, это того, что не взяла Татьяну с собой, когда Григорий послал ее кухарничать. Чувствовала ведь, какое у нее настроение! Пришел на память и их почтой разговор. Вспомнились Алексеи-вы зигзаги вокруг приезжей артистки-буфетчицы. И опять корила себя Лидия за своей неугляд.

С утра разговору, конечно, только и было что о Сосниной. Постепенно обций тон все больше склонялся к Татьянинному осуждению. Хотя не столько выговаривалось порицание, сколько даже пренебрежение. Дескать, чего де от городской залетной и ждать-то было? Удивительно, мол, не то, что ушла, а как она до сих пор еще уживалась?

И не в поселок, а в город лыжи набострила!

— Оставила, Леша, тебя невеста с носом! — уже миролюбиво подтрунивала пад непривычно молчавшим Четверуковым Клавдия. — Теперь у тебя один выбор, как меня сватать, потому у девок ты мужицкий свой авторитет подорвал напрочь.

В это время со стороны лога послышалось тарахтенье автомобильного мотора. Приближающийся этот непривычный звук пасторожил всех.

— Что-то гости зачастили к нам. Не с повой ли премией, — в общем молчаши съязвила Клавдия и тоже умолкла в ожидательном любоньтстве.

Из лога выпрыгнул крытый брезентом грузовик, поюлил вдалеке перед рельсами рабочей дороги, потом исчез за повой насыпью и, высулувшись из-за нее, неторопливо покотил к вагончикам.

Он остановился на гравийном пятачке, в нескольких метрах от притихших разьеждовцев.

— Здорово, работнички! — высунул лохматую, в седых клочьях, прикрытую маленькой кепкой-восьмиклиной голову в распахнувшуюся дверцу шофер, — лопаты-то бы надо на караул поднять! Землячку вам привез! Малость, правда, с дефектом, но главные части вроде бы в порядке! — Спрыгнул он сам из кабины, оказавшись низкорослым, широким в плечах мужчиной. — Принимайте, говорю, землячку! — Он пошел вокруг радиатора, к другой дверце, и тут все кипулись к автомобилю.

Лидия, опередив всех и, оттолкнув шофера, не успевшего отойти от дверцы, вскинула руки к сжавшейся в комочек на сиденье Татьяне:

— Ты чего это удумала, лишепёк! — вскричала в сердцах она и, видимо, настолько грозно, что шофер затормозил предупредить:

— Ты, бабочка, не того, слышь, резко ее не трожь. У нее пога повреждена!

— Да как же? — растерялась Лидия.

— А как бывает? — спокойно объяснил шофер. — Подвернула погу. Шамановна малость поколдовала, и вот решила и здравпункт в поселок везти. Я из Амзаса возвращаюсь, солярку геологам возил. Ну а она говорит, что ей какие-то вещи здесь надо забрать. Вот и завернула!

— Какие такие вещи? — вытирая ладонью глаза, поинтересовалась Лидия.

Татьяна, уткнувшись подбородком в шифт и хлюпая носом, молчала.

— Ей, надо думать, — пояснил шофер, — слышь-ка, а ты, правда, не отмамливайся, чего время-то нам терять, — обратился он к своей пассажирке.

— Какие такие вещи! — рассердилась Лидия. — А ну, голубок, заводи! И погоний-ка! А я с вами в кузове поеду! — неожиданно решила она. — Слышь, Григорий, я путешественницу провожу. — Затормозилась Лидия вдоль бока машины к заднему борту, в котором была дверца прорезь.

Шофер, прежде чем самому залезть в кабину, все-таки спросил:

— А с вещами как? Ехали зря, выходит?

— Да что там, браток, — вышел к дверце и Григорий, — ты вези, Лидия верно сказала, если, значит, травма, надо по всем статьям в медпункт. Ты и веди. А мы потом разберемся. Тебе от нашего имени спасибо за помощь, значит. Ну и вези. Что там надо, с Лидией и договоритесь, слышь?

Дороги по лугу как таковой вообще-то не было. И потому, круто переваливаясь по колдобинам и ямам, грузовик карабкался вверх, а Лидия сидела, ухватившись одной рукой за сиденье, другою — за потяжной ремень над головой.

Когда после очередного пыха машина покатилась уверенней и натужное пятые мотора перешло в ровное гудение, Лидия поняла, что выбрались наконец на большую дорогу, и вдруг сообразила, что в машину-то она залезла, как была в брезентовой рабочей ро-

бе и резиновых бахилах. По тут же успокоилась: не на праздник поехала, и подумала, что ни о чем Татьяну расспросить не успела. Вспомнила, шофер сказал — ехал из Амзаса. Выходит, что Танька-дуреха до самого Шаманова Камня дотопала, совсем в противоположную сторону от поселка!

Эта догадка ужаснула Лидию. Она представила: отверни Татьяна совсем немного в сторону от Шаманова Камня, где пашли ее буровики, и канула бы без следа в таежной глухомани. За Амзасом иди хоть тысячу километров — человеческого жилья не встретишь, разве что одинокие срубы охотничьих зимовий, куда и самих-то охотников порой доставляют на вертолетах, так они далеко и хитро запрятаны.

Однако еще более расстроилась Лидия, когда ей в голову припала мысль, что первопричиной Татьянинного побега стала ее беременность! В мутное стекло маленького кабинного окошечка она увидела согбенную Татьяну, вздрагивающую на ухабах, и рядом молчаливо спящую синю шофера. Трясущаяся пелота железа, запретно отделяющая Лидию от Татьяны, сдавила в горле слова. Их перастраченная жалостливая сила кинула ее самое на дно памятной колдобины, бывшей не вывертом вскового корневидца лиственницы, подобной той, в какую угодила Татьяна, а сыпучим следом не то от бомбы, не то от снаряда воронкой, куда и угодила Лидия, бредя по лесу в поисках медсанбата. Старшина Еремин, проводив через болото, вернулся на батарею.

Мысленный взор, оказывается, имеет приметное, не скудеющее хранилище, полное предметов, звуков и цветов. Лидия помнит, что зеленый цвет как бы свисал с обрыва в желтую сыпучую яму. Он был на высоте поднятой руки, по поднять ее, перебитую лп, вывихнутую лп в плече, у нее не было сил. Лидия носками сапог сбивала с боков желтое, подминала под ноги. Это было тяжело и

долго. Так долго, что зеленое и желтое временами замешивалось в черное, по всей видимости, когда она теряла сознание. Потом все-таки зеленое осилило темноту. Скорее всего потому, что на него сверху все время лилось голубое, лилось так неудержимо, что в конце концов спустило зеленые плети до ее плеч (или они поднялись до него?) — последним пырком через черное забытие, всеосвещающим всплеском боли вскинулась Лидия из воронки на зеленое успокаивающее ложе.

Ее взгляд вначале плутал тоже в зеленом, прежде чем пробились к синему. Когда Лидия окончательно пришла в себя, то обнаружила, что лежит подвысокой сосной, сквозь хвою которой светит тихое небо. Не было слышно ни взрывов, ни выстрелов.

Зато она вдруг услышала и всем телом и каждой капелькой сознания короткий, торопливый толчок в своей глубине и догадалась, что потому-то так безоглядно и безбоязненно бродит она по болотам и лесам в поисках деревни Меркуловичи, что идет-то не одна! А он (тогда Лидия еще не знала, что в ней жила девочка), в подтверждение опять толкнулся, как ей показалось, пяточками, и будто бы помог подняться ей, и пошла она меж стволов и кустарников, пока все-таки не наткнулась на палатки медсанбата.

Впоследствии, когда уже, оспротив на всю жизнь, она на лагерных нарах помчала голодной бессонницы все думала, что заблудилась бы она в лесу, не пайди медсанбата, и плен бы миновала, может быть, и свои подобрали бы, ну а если бы и умерла, так с дочкой бы вместе! И еще думала о том, что Вася так и не узнал ничего. Она так и думала: «Вася», ни разу не догадавшись назвать его отцом, как и себя ни разу не назвала матерью, потому что по сути в материнстве ей не довелось быть!

Машины тряхнуло на колдобине, и Лидия вернулась мыслью к Татьяне.

Тошно ей, поди, от кидалок-то? Дочего же девка скрытная. — И странным образом еще недавний испуг ее принял уже другой оборот. — Нут-ка бы не заплутала, пришла в поселок? И решила бы, как пить дать, решила бы ребенка! — Так и уверяя в своих обманных предположениях, размышляла Лидия. — Бог с ним, с Лешкой! Вдвоем разве не выйдем? В город пересеем, с дитем непременно надо в город. Дело молодое, может, кто и пойдет для жизни у нее. Так и на здоровье. Татьяна — не убогая. С дитем-то и сама она справится. И мы ей не помеха, — рассуждала Лидия уже умиротворенно, без всякого сомнения в своей непременимой причастности к дальнейшей Татьяниной жизни.

А между тем автоманина вкатилась уже в колею поселковой улицы и, поурчав на знакомые рытвины, затормозила возле «фипского» домика. Лидия слышала, как растворилась дверь и молодой женский голос спросил:

— Дядя Вася, ты кого привез-то?

Шофер с совсем неуместной шуткой отвечал:

— Нашли мы, Марина, в тайге, возле Шаманова Камня одну красавицу. Хотели сразу же за доброго буровика сосватать, а у нее ведущая ось треснула, вот к тебе на ремонт и доставил.

Лидия, выпрыгнув из кузова, при последних словах шофера подроспела к кабине.

— Не ко времени-то зубоскалишь! Сам людей возить не умеешь! Да меня там в кузове всю по косточкам растрясло, — выговаривая шоферу, Лидия принаравливалась, как бы помочь Татьяне слезть с сиденья, не задев толсто укутанную ногу.

— Ну тебя, бабонька, долго трясти надо, чтобы по косточкам-то, — беззлобно отвечал шофер. — А может, от тряски только уплотнишься. — Он как-то ловко отодвинул плечом Лидию от кабины, осторожно, будто маленького ребенка, взял Татьяну на руки и понес к

порогу домика: — Отворяй-ка, Марина, порота в свой ремхец!

Половина домика (в другой было жилище помещенное) оказалась разгороженной еще надвое. От дверей в белом свете ишестки и краски, со шкафами сквозь стекла блестящих медицинскими инструментами и склянками с лекарствами, в локжак, покрытым клеенкой, начинался приемный покой, за ним в приоткрытую дверь никелированной спальной кровати обозначилась лечебная палата.

Пока шофер усаживал Татьяну на стул, хозяйка медпункта куда-то исчезла, а заявила уже в белом халате, белой шапочке, из-под которой так весело вылаживали кудряшки, что даже ее строгое требование:

— Посторонних прошу пока удалиться! — прозвучало как-то неубедительно.

Однако шофер сразу повиновался.

Как себя чувствует больная? — поинтересовалась фельдшерица вроде бы даже с радостью, дескать, и ей наконец пришлось дело.

— Ничего, — хрипло ответила Татьяна. Это были ее первые слова, услышанные в тот день Лидией. И такими жалобными, такими беспомощными прозвучали они для нее, что Лидия не утерпела и подалась в своих бахилах по скользкому блеску больничного пола к Татьяне. Одлако хозяйка, не поворачивая головы, остановила:

— Я, кажется, просила посторонних удалиться?

Острый копчик Татьяниного поса задрожал над узкой потрескавшейся сжатостью губ. Лидия, еле сдерживая слезы, заторопилась успокоить ее:

— Ты не переживай, Танюша. Доктор сейчас тебе поможет, а я на крыльчке подожду. Можно, доктор, я на крыльчке буду? — Лидия попыталась к двери и прежде чем закрыть ее за собой повторила: — Я на крыльчке, Танюша, на крыльчке!

За порогом она столкнулась с шофе-

ром. В руках он держал Татьянину багетку:

— Приданое чуть не забыли. Ну как там? —

Лидия недоуменно молча пожала плечами. Они вместе спустились со ступенек. Шофер закурил.

— Дай-ка и мне, — попросила Лидия, — не переносит моя душа эти медсанбаты.

Шофер пододвинул к ней огороженный ладонями спичечный огонек.

— Тебе, часом, воевать-то не приходилось?

Глубоко затянувшись и выпустив густой клочок дыма, Лидия сказала:

— Вот с тех пор и не люблю!

— А кто их любит? — спросил шофер, — разве какой «сачок»? Ну, будь здорова, а я попылил!

— Слушай, — вдогонку крикнула Лидия, — ты уж меня извини, палайла давеча на тебя. Вместо того, чтобы спасибо-то сказать...

— Да каво там, пусть поправляется!

Фыркнув, машина попятилась, потом на развороте шофер приветственно поднял ладонь, и Лидия махнула ему.

— Чего это я его ни о чем не расспросила, — спохватилась она, глядя вслед медленно раскачивающейся брезентовой крыше кузова.

В это время хлопнула дверь. Лидия обернулась. На пороге объявилась уже другая, пожилая женщина, тоже в халате. Видимо, санитарка.

— Гине накладывать будем, — торопливо сказала она, — я за водой. Перелом незначительный, сложен, главное, правильно, сказала Марина Петровна. Она у нас специалист! Самому начальнику экспедиции, воп какой здоровущий мужик, вчерась зуб вырвала — охнуть не успел! — Женщина убежала в другую половину домика, откуда быстро вернулась с ведром, с которым юркнула в амбулаторную дверь.

Прошел час, а может быть два, когда дверь, наконец, запахнулась и на крыльцо вышла Марина Петровна.

Лидия, сидевшая на завалинке, вскочила. Фельдшерица сама подошла к ней.

— Страшного ничего нет, но полежать ей у нас пока придется. Не нравятся мне общее состояние больной. Повышенная возбудимость, нервозность. Я ей успокоительное дала. Она спит сейчас. А вы кто ей будете?

— Как вам сказать, — растерялась Лидия, размышлявшая перед этим, как ей завести свой деликатный разговор с фельдшерицей о Татьянинном намерении избавиться от ребенка. В том, что в этом причина Татьянинного побега, у Лидии сомнений не было. Помогла сама Марина Петровна, подсказавшая ответ:

— Родственница вы нашей больной?

— Родственница, дочка, родственница, — затормозилась подтвердить Лидия, — у меня к вам, доктор, разговор есть. — Лидия замялась, подыскивая слова: — Ребеночек у нее должен быть, — не очень уверенно начала она.

Фельдшерица строго перебила ее: — А сколько месяцев? За направлением в город ехать надо.

— Да нет же, я чего и хочу просить, доктор. Сроки я не знаю, но уговорить бы ее не делать ничего. Я завтра вернусь, сама с ней попробую поговорить. Ну и вы бы чего-нибудь такое... А завтра я непременно вернусь, непременно. — Взволнованное убеждение Лидии как-то сияло с фельдшерицы профессиональную надменность, и она попросту, по-девчачьи сопереживательно полюбопытствовала:

— Отец-то сбежал, что-ли?

— Сбежать не сбежал, а нос, видать, воротит, — вздохнув, призналась Лидия, и фельдшерица ее сочувственно поддержала:

— Это у них запросто, это они могут! Но тут главное, чтобы свидетели были, понимаете?

— Так ведь, дочка, не со свидетелем же жить! Ребенку отец нужен. А по суду — какой он отец? Без него вырастит. Надо бы ее как-нибудь успокоить,

настроить, доченька? — все упрашивала Лидия, и фельдшерица уже поддерживала ее.

— Пока мы ей витаминов повлияем, первая беременность, у нее первая? Ну так вот, первая беременность — это так сложно. Питание у нас обычно из поселковой столовой, а для нее я Филипповну попрошу. А чего, я сама у нее питаюсь. А ей, — кивнула головой через плечо фельдшерица на амбулаторную дверь, — много ли надо! А завтра и приходите. Мы с вами вместе... — хотела что-то высказать Марина Петровна, но в это время из улицы к домику выскочил мотоцикл с парнем и перебил их разговор.

Расширочились они почти совсем по-дружески. Лидия пошла по улице вниз, к центру поселка, потом вверх к большой дороге.

День потихоньку рассвечивался. Вроде бы и не было накапуе ни холодного ветра, ни дождя. Перекидывая в характере сибирская осень — жалостливая. Перед длинной зимой нет-нет да и одарит солнечным негорячим светлым днем.

Лидия не часто ходила по большой дороге, да и то в разъездовой компании. Одиочная же ходьба — всегда наособицу. Она по принуждению судьбы или же по собственной прихоти случается, а значит, и разговор у человека с самим собой идет. О чем? Разумеется, о жизни. Лидия себе так все рисовала: перво-наперво с Лешкой поговорить надо будет. Не пустобол парень, а так-то, по сердечности признаться, сами девки и испортили его. Не виноватого здесь искать надо, а любовь. Если, конечно, она есть. А нет, так чтоб и духу его на разъезде не осталось. Пока Татьяна в поселке, чтобы и решил все, тиранить девку она — Лидия — не даст!

Но и о Татьяне по-разному думала Лидия. А если она сама к нему не очень, тогда как? Ежели она еще неродившегося уже возненавидела? От мысли такой Лидии жарко стало. Может

близко, не учуяла, как сквозь брезентуху сонные прилегло? Оно далеко уже за полдень, перевалило. В его лучах величаво грели свои зеленые ланы могучие пихты, а белесющие изредка среди них березки иногда, кажется, сами по себе, без ветерка, вздрагивали вдруг с макушки, и тогда отлетал один, другой желтый лист и медленно, кружась, опускался на землю. Но не было в этой истории жалостливого шелеста, потому что не потеря это была, а расставание перед новой неведомой жизнью, которую приносят вешние токи березовым почкам. И не было в душе Лидии ни на кого досады и обиды.

Охваченная предчувствием радостной обузы, будто приготовленной ей ни о чем не помышлявшей Татьяной, она видела по-новому теперь уже навсегда, наконец, устроенную свою жизнь в сочетании со слабеньким Танькиным корешком, которому всегда будет приходиться опорой.

Лидия сняла брезентовую куртку, перекинула ее через плечо, глянула вперед и удивилась: уже четко выдвинулись интимные, углами изогнутые по-над корявыми, выпирающими из земли корнями братеньи стволы березы, возле которой обыкновенно делалась всегда маленькая пересидка, а там уже и до смертка в разъездовский лог — рукой подать!

Шум автомобильного мотора радостно толкнул Лидию в спину. Она поджидючи обернулась и остановилась. Какое же было ее удивление, когда в кабине притормозившего грузовика она увидела знакомое лицо. Не менее Лидии удивился и шофер, призвав в пешеходке утреннюю пассажирку.

— Здорово опять будешь! — высунулся в открытую половинку двери. — Ты однако в сорочке редилась! По неделям, бывает, ездишь — и никого! А тут одного человека — второй раз за день! Ну, садись, раз повстречались.

Машина тронулась. По шоферской

привычке глядя вперед и изредка обочаивая голову к седоку, Василий разговаривался:

— Я ехать-то не должен был. Митрохина очередь. А он с завгаром васьмась. Я же — безотказный. У одного дети, у того — жена. А я сам себе хозяин. Вот и попускают чуть-чего: «Давай, Раевский!»

Лидия, углубленная в свои размышления, сочувственно поддакнула:

— Кто везет, на того и подваливают!

— Да конь у меня крепкий, ухоженный, — с улыбкой похлопал по рулевому колесу Василий. — Рапелая наша как там?

— Фельдперница сказала, будто все обошлось. А так-то, кто знает, — вздохнула Лидия.

— Марина у нас молодец, не волнуется, мертвого на ноги поставит. А она-то тебе кто? Девчушка-то?

— Да как тебе сказать, — очень уж хотелось Лидии обо всех своих думах с кем-нибудь поделиться, но шофер, взглянув коротко на нее и сразу же отворотив голову к лобовому стеклу, вдруг сказал с усмешкой:

— Будто бы мы теперь с тобой и знакомцы, а звать-величать не знаю как!

— А чего величать-то, — отозвалась Лидия, — опять, может, вовек и не встретимся!

— А может, наоборот? Может, посватаюсь!

— Куда... — выронила Лидия смешок, — я вот скоро уж бабушкой, видать, стану!

— Выходит, дочка? — уяснил Василий.

— А считай, что так! — больше, может быть, для себя, чем для него подтвердила Лидия.

— Глянь-ка, — кивнул головой Василий по направлению движения машины, там на дороге, вдалеке, виднелась человеческая фигурка, — что-то больно большое движение нылче на нашем тракте!

— Может, кто из наших? — предположила Лидия.

— Может быть, и из Медведовки, в магазин навестился. У них опять продащица укатила, — рассудил Василий и, глянув в дверное окошко, заметил: — А скоро и ваш сверток, так не познакомившись и расстанемся?

— Отчего же, — все вглядывалась в приближающуюся фигурку Лидия, — зовут меня Лидия, по фамилии Чеснокова. Будете в наших краях — в гости просим! Гостей мы любим, да на нашем разъезде редко они бывают!

— Скажи, пожалуйста, — удивленно сказал Василий, и Лидия стала ему пояснять:

— Ну сам посуди: откуда им, гостям, взяться, да и зачем к нам-то? Девки наши и то сами к поселковым парням бегают.

— Да не об этом я, — перебил ее Василий, — а то, что и в самом деле ты на фронте была? — неожиданно заинтересовался он, при этом одной рукой Василий держал баранку, а другой стал доставать из кармана папироску.

— Врать-то мне что за корысть? — удивилась Лидия.

Василий снял обе руки с баранки, чиркнул спичкой, выкинул ее из кабины и резко кинул ладони на оплетенный голубой изоляционной лентой круг.

— Понимаешь, у меня на фронте знакомая была, тоже Лидой звали, — сказал он, выдыхая вместе с дымом слова.

— Нас как-то в медсанбате однажды сразу три Лидки собралось, — невесело усмехнулась Лидия.

— Дело-то какое, понимаешь, — Василий повернул голову в ее сторону, — фамилия у нас Чеснокова была.

— Двойная тетка, — с улыбкой же начала говорить Лидия, но остановилась, жестко сжав губы и, поправляя рукой волосы, обнажила щеку со шрамом. Василий уже опять глядел на дорогу. Посмотрела и она. Фигурка при-

ближалась пастелью, что вполне можно было определить, что это мужчина.

— Я батареей сорокапяток командовал. Осенью сорок третьего, было это возле небольшой деревушки Меркуловичи. Там-то мы последний раз и виделись с ней. В медсанбат я их со старшиной услал. Старшина Еремин еще идти не хотел, а раненые оба были.

— Не может быть, — испугом перечеркнула шоферское воспоминание Лидия, — не может быть! Откуда бы тебе взяться-то?

— Чего не может быть? — резко повернул голову в ее сторону шофер и, будто почувствовав его нервозность, дернулась в сторону и машина.

— Я же старшину Еремина уже после войны на Волгострое встречала! — шепотом произнесла Лидия и неуверенно добавила: — Вася... — памятью назвав имя, так и не признавая глазами.

— Лидя? — шипом вырвалось из губ Василия. Его обрюзгшее, в глубоких морщинах лицо кирпично окрасилось, глаза, в которых пока еще бился тревожный страх, сузились недоверчивым прищуром, торопливо ощупывая съежившееся в горестной гримасе женское лицо, желая, но не находя в нем ни единой узнаваемой черты.

В крошечную капельку времени, за которую даже машина не успела бы пересечь поперек полотно дороги, каждый из них вновь переплыл свой океан жизни от оглушенного взрывами маяка последнего их общего дня, до онемевшей в изумлении тишины этой таежной дороги.

Поврозь прожитые годы так им запелили глаза, что даже смутное памятное пятнышко прошлого, засветившееся надеждой в звуках фамилии Еремина, не могло пробиться к затерявшемуся в глубинах души зеркалу радости.

— Лидя, — сломав недоверчивость хрипоты, все-таки попробовал себя убедить громким утверждением Василий, и звук его голоса, ударившись о ее тоскующее,

поистинное ожидание, высек из него обжигающую боль доверия.

Алексей Четверуков, а это он вышагивал навстречу машине, отпросившись у Григория в поселок, чтобы «по поручению коллектива попроведовать травмированную Татьяну Соспину», уже раздумывал, как бы ему уговорить шофера стоять назад в поселок, когда увидел, что машина, вдруг развернувшись поперек дороги, резко затормозила под самым кюветом.

Алексей кинулся к машине. Запыхавшись, он остановился было около дверцы кабины и с удивлением увидел в оконечке Лидию и шофера, утром прикованного Татьяну на разъезд.

— А если бы меня не послали вместо Митрохина?.. — услышал Алексей, как

задохнулся испуганно в словах шофер, и, согнувшись, чтобы его не заметили, Четверуков скользнул вдоль борта, и дальше за машину. — Если, говорю, я бы сейчас не поехал?! — на этот раз почти в крике неизвестно к кому обратился Василий, и голос его налился горькой безнадежной жалобой.

А к ней навстречу уже отзывчиво и жертвенно вскинулась рука Лидии. И та, оказывается, не умершая, а от себя самой береженная для этого нежданного, по всегда желанного часа, щедрость сердца, незабытым трепетом девичьей любви робко пробившись сквозь загрубевшую в мозолях женскую ладонь, избавительной нежностью коснулась пальцев Василия, в отчаянии сжимавших рулевое колесо.



Любовь Никонова

* * *

Похожи труженики, кто бы что ни делал.
Витает музыка над их любимым делом.
Ремесла родственны, как ни велик их список.
Вот, скажем, труд ткачих и труд арфисток:

Единый ритм! Оставлены изыски.
Движенья цельны, как омега-альфа.
Ткачихи музицируют. Арфистки
Ткут полотно, звучащее, как арфа.

СНЕГОВИК

Из свежего снега сырого
слепив толстяка снегового,
от счастья дитя засмеялось.
И впрямь толстячок был приятный:
смешной, белоснежный, опрятный —
не зря с ним игра затевалась.

Стоял он, довольный кулема...
Рассматривал мир он влюбленно.
Возникшее сердце просило,
чтоб длилась незванная нега.
Он стал существом — пусть из снега.
Хотя бы из снега. Спасибо.

Он случай приветствовал добрый.
Гордился он выпавшей долей:
Быть чьим-то созданием — прелестно!
Ты вылеплен! Краткое чудо
цени, не растаял покуда.
Ведь слепят ли вновь — неизвестно.

КЛЕНОВАЯ РОЩА

Я в рощице той не была целый век.
Не знаю, во что она там превратилась:
должно быть, растаяла просто, как снег;
как солнце вечернее, закатилась.

А может, на край заповедной земли
лучистые птицы ее унесли,
поставили где-то, где роща нужней,
и там интересно и весело ей.

Там девочка ходит, она напевает.
А роща (так с рощами часто бывает)
шумит и шумит над ее головой,
ласкает ей ноги зеленой травой.

И всюду, где девочка эта ступает,
ей роща пилотиков с кленов спускает.

* * *

Из-за старинной башни вышло солнце.
Зазолотилась площадь с голубями.
Упал на лица отблеск золотой.
И вот, сверкая, свет обильный льется.
Как чаша, жизнь наполнилась с краями
и вспыхнула предельной красотой.

Отозвались железные заводы.
Откликнулись невидимые чувства.
Волна тепла прошла у нас в крови.
Яснее мысли, горячей заботы
в сквозном луче космического чуда.
То луч любви. То жизнь в луче любви.

* * *

Было сердцу неведомо многое...
Пылилось... И пряталось вновь...
И услышала слово я строгое —
говорила со мною любовь:

— Я кормлю, но не сытых — пресыщенных.
Не для них мои дни и труды.
И голодных кормлю бедной пищею
и лепешками из лебедеи.

Не склоняю тебя к трудной участи
или к слишком суровой судьбе.
Ты реши, чтоб напрасно не мучиться:
черный хлеб мой — он нужен тебе?»

Улыбнулась я строгому голосу.
И с тех пор поклоняюсь всегда
и ржаному насущному колосу,
и тебе, мать трав Лебеда.

* * *

Как получилось? Как ей удалось
стать жизнью? Косный мир пройти насквозь?
От камня отделиться и от кварца
и сбывшейся, решенной оказаться?

Зачать и выпестовать в почве клубеньки?
Использовать для роста сушь и ливни?
Изобрести тугие плавники?
Придумать ласты? Хоботы и бивни?
Изведать жар и холод полюсов?
Построить крепко города лесов?
Достичь просторных тундр, под снегом
спящих,

и гор, из алебаstra состоящих?
Вести в морскую глубь, в слои ее
(границающая с дерзостью наивностью)
жемчужное суденышко свое —
лазоревого корабля «Наутилус»?
Воздушные пути открыть для птиц?
Наметить участь хищника и агнца?
Дать выражение сотням тысяч лиц
и озарить их пламенем румянца?
И, продолжая беспримерный путь,
всем созданным так широко рискнуть —
и вместе с чувством, страстью и экстазом
вложить в иных существ еще и разум?
А разум, возмужав под вспышкой гроз,
один и тот же задает вопрос.
Обдумывая жизни путь негладкий,
он вечно бьется над ее загадкой:
Как получилось? Как ей удалось
стать жизнью? Косный мир пройти насквозь?

г. Новокузнецк

МИЛЛИОН

Р а с с к а з

Студенты строительного техникума убирали в колхозе картошку. Особо не упирались — то машин не было, то еще чего... А потом еще дожди навалились. Кругом мокрота, клубни скользкие. Кто не хотел марать рук, втапывал картошку в грязь. Наклонится для виду, а сам раз каблуком — и нет ее, родимой! Митя Сураев так не мог — он в деревне вырос. Но выступать против всех не лез — работал сам по себе.

Наконец студентов отпустили. Заработали мало — конейки... Митя разозлился — думал после колхоза штаны купить, а вышла фига с маслом. В общезжитии поскидал в угол грязную одежду и поехал на выходные домой.

Там тоже не лучше. Пока бежал от остановки, весь испсиховался: дорога пораскисла, а он в туфельках. Начерпал грязи по самые уши. Обходя лужу, Митя прижался к забору, и тут его перехватил сосед — старик Сутягин: как с горки соскользнул со ступенек — и вперед:

— Моих там не видел?

Митя усмехнулся — у Сутягина одна песня, и та петая-перепетая.

— Нет, дядя Семен, не паблюдал.

— Видать, дела не пуцают. Хм... У тебя это, закурить не пайдется?

Митя дал ему папирску. Сутягин суетливо захлопал ладонками по штанинам. А сам не сводил с Мити глаз — будто сторожил. «Позеленел тут от тоски, — подумал Митя, — колхозничек...»

— Ладно, побегу я, а то уши отвалятся.

— Ага, — закивал Сутягин, — второй день дует...

Он хотел сказать еще что-то и даже наморщил лоб, но Митя не стал ждать, побежал.

Дома первым делом проверил баню: воздух над трубой дрожал и был светлым, как стекло. «Хоть попариться после картошки, — обрадовался Митя, — а то совсем пикакой жизни...»

Мать на кухне месила тесто.

— Еще не лучше! — закричала она, — в такую погоду раздевши!

— Ладно тебе, — отмахнулся Митя, — завелась. А отец где?

— К Селедковым ушел. Те поросенка кололи, посулились дать на пельмени.

— О, это я люблю! — Митя снял мокрые носки и прошел в свою бывшую комнату.

На кровати сидела его сестра Верка и жевала шоколадные конфеты. Месяц назад она сбегала от своего алкаша и теперь вместе с нацаном жила здесь.

— Привет! — сказал Митя. — Как жизнь молодая?

— Нормально, — сестра собрала с подола конфетные обертки, потянула на коленки халатик, — давай поменяемся?

— Нашла дурака, — Митя прошелся по комнате, глянул в окошко. Окошко выходило на сарай. На крыше его лежали грабли, вилы и старые доски. «Не фонтан тут, конечно» — подумал Митя.

— А к нам Пугачева приезжает!

— Правда, что ли? — Верка так за-вздыхала, что у халата на груди чуть не отлетели пуговицы. Но тут захныкал

пацан, и она сразу увяла. Митя подошел к кроватке. Пацан был какой-то заскорузлый — синий, сморщенный. Но орал не хуже бугая.

Он что у тебя, без понятия?

Какой есть! — дернулась Верка. Схватила сына на руки и, тыча ему носом в щеки, заворковала:

— Ух ты крикунчик мой сладенький, нушнички он захотел у нас...

Кстати о кормежке, — вспомнил Митя, — надо и мне чего пожевать.

Он прошел на кухню. Мать налила ему молока, поставила на стол чашку с маринованными огурцами. Сама присела рядом. Уложила руки на живот, смотрела, как он ест.

Периулся отец. Митя пожал его хитроногие отвердевшие пальцы, заглянул в бутерб с мясом:

Свежатица!

Ладил бы домой почанце, так все, ешнички, поел бы досыта, — сказала мать.

А то оголодал он там, — отец повесил плац, прошел к печке, — брюхо вопиет через ремень переваливается.

Глиди-ка, увидел, — напустилась на отца мать, — сам дошел — кожа да кости, хошь, чтоб и другие скелетниками ходили? А мужик и должен быть справным! — она вдруг обняла Митю за плечи, — ешь, сынок.

Митя, досадливо морщась, уворачивался от ее теплой щеки, от тяжелых студенческих рук:

Ладно тебе...

Потом отец резал мясо, мать чистила лук и картошку, Митя вертел ручку мясорубки. Втроем управились быстро. А тут и баня поспела. На первый жар пошли с отцом.

Баня стояла в углу огорода, за машинником. Рядом росла полукультура. Тяжелые грузешные ветки гнулись к земле.

— Уж подвизывал, а все одно ломается, — отец достал из кармана проволочку, подтянул одну из веток к стволу, — хоть бы обобрал да увез.

— Ты чего, — засмеялся Митя, — кто на эту кислятину кинется? Ты думаешь, студентам сейчас пожрать нечего? Папы с мамами снабжают будь здоров!

— Прошлый год так и пришлось все свинье свалить, — отец поднял опавшее яблочко, обдул его, — а мне так они ничего кажутся...

Он мелко щурился, с лица его, минуя вислые усы, сбегали дождинки. Митя поежился и пошел в баню. У предбанника оглянулся: отец в заскорузлой брезентовой куртке и в выгоревших штанах, которые трепались под ветром на его тонких, как палки, ногах, все еще топтался у яблоньки.

После бани сели стряпать пельмени. Верка тоже было вышла, но ненадолго — пацан опять завелся.

— Его там что, режут? — не выдержал Митя.

— Уродился такой, — вздохнула мать, — и к бабке уже носили, а все никак.

— К дедке надо было спосить, — усмехнулся отец.

— А тебе бы только зубы скалить. Ох, грешные мы, прости нас, господи, — мать шевельнула рукой, но креститься не стала — только подняла в угол глаза. Там на тетрадном листочке стояла медная, в ладонь, иконка. Мать задумалась: машинально катала сочни, а сама все глядела куда-то поверх стола. Отец покосился на нее, повернулся к Мите:

— Докладывай, студент, как поработалось? — он уселся поудобнее, — сколько на трудовень выдали?

— Жди, выдадут ваши колхозники. — Мите опять стало обидно. Почти все на курсе в джинсах, только он, деревня, в маде ин фабрика «Красный челнок». Городские или по блату достают, или на рынке берут, кому родичи подкидывают. У Мити с блатом было туго, а просить дома две сотни он не хотел. Мать в обморок упадет — это уж точно. Да и Берка у них еще на шее... Думал, на картошке подзаработает чего, а вышла фига.

— Размялись маленько и то ладно,— сказал отец, — все польза.

— Ничего так фразиночка получилась, — зло хохотнул Митя, — половину затоптали, а другую половину на поле оставили. Счас пару заморозков — и каюк картошечке!

— Если хорошо закрыли кучи, так еще, может, ничего.

— Прямо разбежались закрывать! Кинули ботвы для блезиру — и привет!

— А бригадир куда смотрел? — отец глухо начал заводитьсь. — Раньше бы за такое....

— Чего про ранешнее вспоминать? Раньше, раньше... Бригадир за эту картошку уже давно отчитался и премию пропил. То ты сам не знаешь, как это делается.

— А ты бы, сынок, встрял да объяснил людям — так, мол, и так, разве можно урожай губить, — сказала мать.

— Не падо меня смешить, — ухмыльнулся Митя, — нашли агитатора за рубль двадцать... И вообще, давай замнем этот разговор, а то я психовать начну.

Помолчали.

— Ну, а в городе что нового? — спросил отец.

Митя пожал плечами:

— Да ничего: трамваи ходят, машины по улицам ездят...

— Учеба как?

— Мы же только приехали.

Отец кивнул — ну да, понятно. А сам сидел навростренный, ждал чего-то. А мать — та тоже рот приоткрыла. «Может, вам рассказать еще, как мы там балдеем?» — развеселился вдруг Митя. Представил, как у них глаза на лоб полезут.

— А у нас-то ведь на улице что случилось, — встрепенулась мать, — у Крыловых козла украли. Прямо из пригона утащили. Клава заявила участковому, да разве теперь найдешь...

— Прямо милиции делать больше нечего, как козлов искать. Вон у нас в группе парень из Грузии учится. У них

там нынче банк грабанули. Не то что твоего козла — почти миллион дернули!

— Спаси и помилуй! — мать испуганно отшатнулась.

— Ну ты даешь, — засмеялся Митя, — можно подумать, что у тебя кошелек с последним рублем стырили.

— Да мне даже на ум такое не идет. Это ведь подумать только.

— Погоди, не тарахти, — остановил ее отец, — дай человека послушать.

Он вышел из-за стола, присел у печки. Заправил в мундштук сигарету:

— Так что там, говоришь, получилось?

— Там было о-ее! Войска вызывали, чтобы все оцепить. Но пока бесполезно. Но крайней мере, когда этот парень, что рассказывал, был дома, их еще не поймали.

— Поймают. У нас вон мешок комбикорма возьмешь, и то найдут. А тут миллион. Это, брат, большие деньги.

— Вот как раз тех, кто миллионами ворочает, тех и труднее всего найти.

— Бедовые головушки, — не унималась мать, — что надумали-натворили.

— Ой, тью-тью-тью-тью, — притворно захныкал Митя, — нашла кого жалеть. Это такие головушки, что я те дам!

— Как же их не жалеть? — Такой грех на себя приняли. А матерям их разве не горе теперь? Ростить вас, растишь... — она смгнула с глаз слезинки, сжалась, притихла.

— Это тебе не шутка — миллион, — задумчиво сказал отец, — мне за всю жизнь столько не заработать. Я вон в войну еще пацан был... И пахал, и лес возил, а выпишут на трудовень горсть зерна — и живи как знаешь. Это сейчас маленько стали платить.

— Кому? Шахтерам, не спорю, платят. Но там и горбатиться падо. А тут раз — и в дамках! Нет, лично я бы от миллиона не отказался, — Митя обмахнул сухие губы. — Я вам сейчас случай расскажу. Есть у нас одна преподавательница — зануда из зануд. Говорят, у

ной в квартире на стенке револьвер висит — как будто чуть ли еще не с гражданской. Так вот, один раз на лекции она говорит, что после революции получили зарплату по двадцать миллионов в месяц. Понятно, тогда инфляция была, но все равно...

— Что это еще за инфляция такая? — спросила мать.

— Это баба была такая, — подмигнул Митя отец, — немецкая шпионка.

Мать заметила мигание, обиделась:

— Совсем уж за дуру принимаете?

Он пошутил, а ты прямо... — заступился Митя за отца, — ладно, слушайте дальше. Сказала она про миллион, и я взял и брякнул — вот бы мне еще! Так, для смеха. А она меня на перемене поймала и давай пытаться — зачем вам миллион? И ей все честь по чести — построю, мол, санаторий для больных студентов, а остальное, само собой, — на личную жизнь. А она опять — зачем вам столько денег? И все на полном серьезе. Кое-как отвязался. Ей бесцельно доказывать. Она всю зарплату и Фонд мира перечисляет.

— А живет на что? — спросил отец.

На пенсию. Нет, я понимаю, что дело мира и так далее, но в конце концов мы же для себя живем. Нет, я бы миллиончик приголубил, — Митя откинул со лба челку, прищурился, — ужинал бы строго в ресторане, каждый год за границу бы раскатывал. Ну, понятно, машину бы прикупил, штанов фирмowych. Главное — не работай, и балдей, сколько влезет!

— Без работы тоже тяжело, — сказал отец, — и другой раз в отпуск пойду, так не знаю, куда себя девать. Летом еще ничего, — то покос, то картошка, а вот зимой тоскливо...

Митя отмахнулся — чего они смыслят в красивой жизни? Причмокивая, он съел фигурный пельмень, полюбовался на него. Представил, как он, Дмитрий Петрович Сураев, в белых штанах и накрапленном батнике сидит в своей ши-

карной квартире и такая мамзель подкатывает ему на столике жратву — кока-колу с пельменями! Или так: он на личной яхте рассекает волны. Кругом девочки по палубе гоношятся, а он с сигарой и нога на ногу. Курс — на Азорские острова!

На кухню зашла сестра. Сняла с плиты тазик, побросала туда пеленки.

— Верка, — усмехаясь спросил Митя, — что б ты сделала, если б у тебя миллион оказался? Сразу бы, наверное, кул конфет закупила. Представляешь — кул конфет!

Верка молча жулькала пеленки. Локти ее двигались, как поршни, туда-сюда, туда-сюда.

— Они гордые, они не желают с нами разговаривать.

— А ты не подтравляй, — одернула Митю мать, — ей и без того не сладко.

— Может, хватит уж меня обсуждать! — закричала Верка. Кинула пеленки в тазик. Мыльная вода плеснулась в открытую духовку, и оттуда пахнуло сладковато-едким.

— Иди отдохни, — сказала мать, — я достираю.

Верка дернула плечами и ушла к себе.

— Не надо так, сынок, — мать тихонько вздохнула, согнувшись над тазиком, — нервная она стала.

— Теперь что, на дылочках перед ней ходить? Пардон, Вера Петровна, оревуар! Не желаете ли трюфелей с селедочкой откусать?

Мать покачала головой, ушла с пеленками в свою комнату. Митя потолкался на кухне и двинулся следом. На стенке в спальне висел портрет. Мать с отцом на портрете были молодые, голубоглазые, с румянами на тугих щеках.

— Ну и разукрасили вас тут, — засмеялся Митя. — Голубоглазые вы мои...

Портрет сделали недавно, он его еще не видел.

— Фотограф так разрисовал. Мы ему карточку дали, а он уж сам...

— А вы б не брали.

— Как не брать? Так даже красивше, — развесив пеленки, мать подошла к портрету, подняла голову. Темная неухоженная кожа на шее растянулась, открыла светлые морщины, и Митя отвернулся — он не умел жалеть. Мать, оттягивая пальцами уголки глаз, все смотрела на портрет:

— Карточку нашли, где помоложе были. Отец на карточке в рубаше был, а тут его, смотри, при галстуке, пиджаке сделали.

— Тебя тоже в другое платье парядили?

— Я в том же. Подкрасили его только — мое-то уж старенькое было. Тогда ведь что — над каждой копейкой тряслись.

— Тряслись... А если б тебе миллион сейчас?

— Да кто бы мне его дал? — мать махнула рукой, вернулась на кухню. Митя — за ней.

— А ты представь, что по лотерее выиграла. На что бы изстратила?

— Куда мне их теперь, старой, тратить?

— А ты подумай, — не отставал Митя.

— Тут и думать нечего. Лучше от греха подальше. Вон у нас Нинка — медсестра. Как вышла за начальника, так не подступись теперь. А какая простая бабенка была, — мать бросила в кастрюлю пельмени, повернула от печки покрасневшее лицо:

— Отец, пей молоко! Да Веру там зови!

Отец с усмешкой покосился на них и вышел в сени. А Митю взял псих. Весь день искал, к чему бы придаться, а тут совсем задержало душу:

— Ты что, не хочешь мне ответить?

Мать присела к столу, уложив на колени руки:

— Чего ответить-то надо?

— Куда бы ты миллион дела? Я тебя уже сто раз про это спрашиваю! Только не надо мне заливать про разных там нянечек и медсестер. Ты про себя ответь!

Мать маленько подумала:

— Да куда? Несчастливым бы раздала. Вон хоть Веру возьми...

— Во-во! И она сразу станет счастливой? Мужа себе непьющего купишь? Или, может, Алена Делона себе из Парижа выпишет? Так, что ли?

Мать растерялась, заморгала:

— Кто его знает, кому что... Вон у нас в больнице посмотришь...

— Это я уж слышал! Ты мне скажи, что бы ты себе купила? Чего тебе не хватает? Платьев, пимов, галон — чего?

— Даже не знаю, как тебе угодить, — мать боязливо поглядела на Митю, сморщила у глаз кожу.

Он смотрел, как она что-то шепчет про себя вялыми губами, и сердце у него рвалось от злости:

— Ну?!

Тут вернулся отец, принес молоко. На кастрюле тенькнула крышка, зашипела на плите сбежавшая вода. Мать спохватилась, взяла со стола большую чашку:

— Давайте ужинать. Сынок, зови Веру.

— А пу вас всех — закричал Митя, — корчите тут из себя святых!

Он сдернул с вешалки курточку и выскочил на улицу.

Тускло отсвечивали под лунной лужи. И тишь стояла кругом — даже собаки не лаяли. Только из дома слабо доносились голоса. «Сейчас выбежит», — подумал Митя про мать, кусая губы. Кругом были огороды, грязь... На соседском крыльчике красной точкой отсвечивал огонек паниорсы.

ДУШОЙ И РАДОСТЬЮ...»

Николай Николаевский

НА ЮБИЛЕЙ ТРАМВАЯ

Я заново переживаю
Явление первого трамвая.
Сейчас покажется, зная,
Такой красивый и нарядный,
Еще вчера невероятный,
Как из тумана, — на меня.
День обжигающе морозный.
Пар над ушами стоит.
И крик «ура» совсем не грозный,
Самозабвенный и серьезный
Затылок сладко леденит.
Неглавный праздник Кузнецкстроя,
А как ликует и поет!
Набитый силой молодой,

Трамвай торжественно идет.
Еще застал я те вагоны,
Они везли, неугомонны,
Седых солдат и нас, галчат.
Не слышал скрипы я и стоны,
Не видел трещин углубленных,
Как ребра стертые торчат.
Но память — самый зоркий взгляд.
И заново переживаю
Явление первого трамвая.
Как будто сам я рихтовал,
И рельс кренил, и стрелки ставил
В эпохе той. Причастный к славе,
Высокий воздух тот вдыхал.

* * *

Беседа, увитая зеленью летней,
Мне кажется доброй старушкой
столетней.
Она восседает в чепце и халате
И звезды мерцают на каждой
заплате.
Лепечет листва или шепчутся двое,
Но что-то знакомое, что-то родное.
Здесь шли чередой ночные беседы.
Их годы стирали, их старили беды.
И нам они слышатся звуком ли,
словом.

Дождинкой глядят и листом
невесомым,
Здесь шорохи, слоухи и стрекотанье
Смущенья полны и полны
пониманья.
В трагических сломах текущего века
Неужто утешит беседа, беседка,
Стоящая криво во тьме, сиротливо.
На грани обнала, на гальке обрыва?
...Как пусто в саду!
Скрип усталых ворот.
И мечутся тени. И ночь пастает.

г. Новокузнецк

Владимир Берязев

* * *

На осенней степной окраине,
где студеная синь озер
в желтизну берегов оправлена,
я стою, и теплеет взор
от соседства глубин и бескрайности,
от размытости зыбких границ
между небом, душой и радостью,
между криком и песней птиц,
улетающих в дали дальние.
До свидания!
До свидания!..

Мне остались озера синие
в берегах желтизны невиданной.
Мне остались дела посильные,
мне осталась земля на выданье.

Перехватит в груди от холода...
Так прекрасно, что в пору
свататься...

Долго-долго,
светло и молодо
по степи чья-то песня катится.

г. Прокопьевск

Алексей Бельмасов

* * *

По улице города летней и душной
устало бредут от киоска к киоску
авоська, похожая на старушку,
старушка, похожая на авоську.
Бредут потихоньку две давних
подружки,
и непонятно ни мне, ни киоску:
авоська ведет за собою старушку,
или старушка ведет авоську.

Лишь изредка вскинет старушка
веки,
посмотрит и мимо пройдет виновато,
как будто живет в девятнадцатом
веке,
а вот оказалась случайно
в двадцатом.

г. Ленинск-Кузнецкий

Семен Печеник

* * *

Я знаю с детства: снег — вода.
Но на ладонь, блеснув отрадою,
Упала малая звезда,
Голубовата и прохладна.

За пею, осенью силовшой,
Снег медленно, как бы устало,

Пошел сверкающий рекой,
И все на свете звездным стало.

И мне желанней сделал снег
Дорог разгон,
Трудов прилежность
И женщины любимой нежность —
Все то,
Чем счастлив человек.

* * *

Пожится заветное слово
В скуные изложницы строк.
Владает певучая мова
В сибирский крутой говорок,
Такая мне выпала участь:
В сибирской земле берегу
Украинской мовы певучесть —

И я перед ними в долгу.
В долгу пред тайгою и гаем;
Ну как мне, скажите, не петь:
Каштан,
Зацветающий в мае,
Сибирской черемухи цвет?!

Владимир Соколов

* * *

Словно лес, мое тело живет —
в нем все больше свирелей
и скрипок
или, может, смиренья и скрипа —
кто его, этот шум, разберет...

Я попал в зачарованный круг:
один голос другого не слышит...
Лес с годами все выше и выше
и все явственней звуки вокруг.

* * *

Г. Захарову

В ладонь снежинка упадет
и нас с тобой переживет...

А от звезды и до звезды —
всего лишь полчаса ходьбы.

Едва-едва проступит суть,
а мы уже — в земле по грудь.

Вот корни — будто рябь реки...
Эй, перевозчик, помоги!..

Теперь нам странствовать века.
Вези нас в звезды, в облака,
в снежинки, в тайны света, тьмы,
во все, что не успели мы.

Геннадий Естамонов

ДОМ ДЛЯ ВСЕХ

...И я люблю бывать у Бориса Павловича Заложных. Есть время — загляну к нему, а уж если что-то не ладится или смурно на душе, обязательно бегу в его мастерскую.

Пахнет здесь хвоей, березовыми почками, весенним мокрым лесом. Хорошо. Сидишь, передвигаешь взгляд по стенам и стеллажам, и хмари как не бывало. Обычные ветки и корни деревьев оживают в руках умельца. Вот привстал Адам и показывает рукой вверх, а рядом, на четвереньках, любопытствующая и осторожная Ева глазеет. Хочется посмотреть вместе с Евой, куда указывает Адам, увидеть «древо познания» и еще что-то, что подсказывает тебе фантазия художника, да и твоя собственная...

Две сосновые шишки высохли, раскрыли чешуйки-кладовочки, выпорхнули семена-крылышки и, может быть, где-нибудь сейчас просунулись из земли зеленым хвостиком. А шишки? Они превратились в двух задорно нахохлившихся молоденьких петушков, готовых ринуться друг на друга, но не подраться, а попрыгать лишь рядом, радуясь весне.

Сколько шишек в лесу, но не каждому дано наклониться, взглянуть и в привычном увидеть необычное, радостное и живое, веселое и немножко грустное. И не только петушков: добродушных бармалейчиков, ежей, древних ящеров, озябших, но не унывающих рыбаков-подледников, пастухов-горцев и многое другое, доброе и смешное.

Сегодня я в гостях у Бориса Павловича с Леной Левниной. Мне интересно посмотреть, как она отнесется к творчеству этого удивительного человека. Ведь говорят, что совре-

менные дети, избалованные достатком, не умеют удивляться. Их, мол, ничем не поразишь. Так ли это? И я предложил ей пойти в гости к художнику.

— К художнику? — переспросила Лена, и я уловил недоверие в ее голосе.

— Да, в мастерскую художника. К нему все ходят.

— Если все, это не художник...

— Пойдем, посмотрим...

Я не стал ей объяснять, что Борис Павлович не держит двери закрытыми. И если люди уходят от него с простым «спасибо», с улыбкой на лице — он рад, как бывает рад родитель за славных своих детей. Кажется странным, но к своим изделиям и поделкам Борис Павлович относится с отцовской нежностью и любовью. Он придумал им клички и имена. Разговаривает с ними, журит их или хвалит. Если бы я обо всем этом рассказал Лене?..

— А где это? — спросила Лена.

— В Доме художников.

— На Красноармейской?

...И Лена молча пошла со мной.

Серое, отяжелевшее за зиму небо прогнулось над городом, напомнив мне простыни с застиранными снами детдомовцев, изготовленные из грубой военной хлопчатки. Таким же серым и грустным, как мои воспоминания, был снег. Я посмотрел на Лену... Она насмешливо кольнула меня глазами-ежиками и притормозила свой бодрый шаг. Ее взгляд можно было понимать и как: «Посмотрим, посмотрим вашего художника».

Хотелось бы знать, что она думает? Судя по тому, как резво и легко шагает, и мысли у нее

должны быть легкими и ясными. И серое небо, и серый снег, видно, совсем не омрачают их. А почему, собственно, они должны омрачать их? Ведь идет весна. Она, как заботливая хозяйка, скоро все кругом перестирает, обновит. И первым делом вознесет на небо солнце! Весна...

— Борис Павлович! — сказал я, входя в мастерскую, — принимайте гостей! Это Лена, дочь моего друга, инженера-изобретателя Левина, Николая Андреевича. Я тебе о нем рассказывал.

Мои слова ей явно понравились, но она постаралась скрыть это под смущенной улыбкой.

— Проходи, Леночка, — Борис Павлович повел рукой, — друзья моих друзей — мои друзья.

А Лена действительно была смущена и, видимо, не только похвалой в адрес ее отца. Гостеприимство, радушие художника, отношение его к ней, как равного к равному, сыграло свою роль, а главное, я думаю, было в другом.

Держи глазки свои насмешливые, разбегутся ведь!

Борис Павлович, доверительно раскрывая Лене свои «секреты», окончательно погасил ее смущение. Они тихо беседовали. Больше говорил Борис Павлович, трудно говорил, порой неразборчиво — он ранен был на войне в челюсть, — но лица у них сияли. Так могут беседовать только два художника, — а вернее художник и его ученик...

Откуда берутся истоки творчества и что это такое? Принадлежит ли творчество только художнику: будь то писатель, поэт, скульптор или живописец? Или это критерий вообще особого отношения к любому делу, когда мысль и руки создают что-то неповторимое, сравнимое разве лишь с песней. А может быть, творчество в труде и есть неслышная песня творца?

Я склонен думать, что есть и талантливые сапожники, и великие охотники, только скрыты они от нас своей обычностью, похожестью, как сосны в бору, как ветки и шишки на них. А вот взглянул художник и увидел все необычным. Выходит, и нам нужно быть внимательнее и зорче смотреть друг на друга, особенно на детей.

Если уж я «ударился» в такие крайности, то

инженерные мысли Николая Андреевича Левина, которые он воплощает в свои изобретения, — бесспорно творчество. И истоки у него были. Было начало. Даже раньше того, как мы начали с ним «бегать» по студенческим коридорам химико-механического техникума, еще не смея мечтать не то что об инженерских, а о простых, но таких недостижимых, дипломах техников. Сейчас Николай Андреевич — ведущий конструктор Кемеровского электротехнического завода, тогда был просто худеньким любопытным мальчиком Колей из полусиротской семьи — отец у него погиб на войне в 1942 году. И у этого мальчика было уже собственное изобретение — электрический звонок из консервных банок и старого шахтерского аккумулятора. Школьник Коля уже испытал радость воплощения идеи в реальный, собственного изготовления прибор. Прибегая из школы, он усердно звонил у двери маленькой халупы, а сердце у него билось так же громко, как молоточек самодельного звонка.

Тогда, в техникуме, я не знал об этом, и Коля Левин был для меня таким же сокурсником, как и все остальные, с той лишь разницей, что мы оба редактировали свои групповые газеты и каждому хотелось, чтобы его газета была самой интересной.

...Меж тем в мастерскую пришли еще художники; они, стараясь не мешать хозяину, сели в сторонке, а Борис Павлович развернул кусок бересты и, показывая его внутреннюю сторону, спросил Лену:

— Что ты видишь здесь?

Она пожала плечами. Да и я ничего не видел на светло-коричневом фоне. Может быть — что-то подобное натаскам, какие бывают на полинявшем материале. Что еще?

— Смотри! — Борис Павлович ножом, подобным сапожному, мягким нажимом вырезал квадрат бересты чуть больше ладошки, — а теперь?

Лена улыбалась. Теперь и я видел: притихший осенний лес с пожухлой листвой, зеркало небольшого озера, в котором отражались деревья, темные нити высохшей осоки на берегу, а над лесом — желтый всплеск уходящего солнца. Осень. Грусть. Увядание.

Борис Павлович подарил Лене этот берестя-

ной этюд, маленького костяного пуделя и... неожиданность открытий.

Говорят, дятлы просыпаются, когда в лесу еще совсем темно, и стуком своим будят его обитателей. За это не любят их лесные засосны, потому дятлы живут поодиночке, никто с ними не дружит. Правда это или нет, Лена не знает, но молоточек будильника, который долбит по утрам звонкую тарелочку, кажется ей беспокойным дятлом.

Первой подхватывается мама, словно она и не спала, а всю ночь только и ждала этого сигнала. Она гремит на кухне, подталкивает Лену в бок, хотя та уже не спит, тормозит Аню, окликает папу. Начинается что-то такое, похожее на большую школьную перемену.

Аню тащат в ванную на процедуры. Лена с мамой прыгают возле нее, как баскетболистки у корзины. Первое время, когда ее лишь приучали к воде, она дрыгалась, как лягушонок, и кричала: «Так только крокодильчиков обмывают в Африке!»

Последним, словно медведь из берлоги, поднимается папа. Зато делает он все быстрее всех, успевая давать ЦУ — ценные указания. Доживая чай, кучу поручений Лене оставит.

— Аня, будешь есть еще снег в детском саду, — голос у папы становится строгим, — ни мороженого, ни лимонада больше никогда не увидишь. Ясно?

— Ясна-а... — Аня дует губы, — а Лена тоже снег ела...

— Вот вруша!

— Да-да, я видела.

— Ешь, ешь, — разрешает весело мама, — горлышко простудишь, тогда не только «р», ни одного слова выговорить не сможешь. Будешь целыми днями молчать, как плюшевый мишка.

Аня задумывается, а мама начинает торопить — на работу опаздывает.

Мама работает главным экономистом. Зовут ее все не мама, а Татьяна Дмитриевна, а папу — Николай Андреевич. Он старший инженер участка механизации и автоматизации на заводе. Еще он изобретатель и рационализатор. Аня спрашивает: «Мама, а что страшнее — главный или старший?»

— Страшнее главный, — смеется мама.

— Значит, страшнее мама, — улыбается папа.

Но Аня машет рукой, прижимается к маме. Она не согласна ни с папой, ни с мамой и не понимает еще шуток. У нее абсолютно отсутствует чувство юмора, считает Лена. Папа говорит:

— Человек без юмора, что собака без нюха.

Аня сразу же подхватывает:

— Собачку хочу, собачку хочу!

Дергает папу, маму, а сама все время просит, чтобы ей домой принесли кошечку. Даже в детском саду хвастается, что у нее будет кошечка...

Когда Аня пытается маму: «Кто всех, всех главнее?» — мама отвечает неизменно: «Папа. Папа — главнее всех!»

Лена с мамой не совсем согласна. С точки зрения науки обществоведения, папа в доме — законодательная власть, мама — исполнительная. Но чаще всего мама совмещает в себе и то и другое. Папа, кажется, не против такого совместительства, но все-таки во всех вопросах его «голос» — решающий: «Папа сказал». «Папа не вселел». «Папа просил».

А вообще-то мамочка у них самая хорошая на свете, самая добрая и веселая. Ее никогда не увидишь хмурой или сердитой. Нет, было раз или два. Но ведь солнце, даже летом, заходит за тучи. Как может такой веселый и улыбочный человек быть главным экономистом? Если все главные такие, то неглавным живется, наверно, неплохо.

С другой стороны, папа — старший инженер, а сердится чаще, чаще бывает задумчивым, сидит над листком, что-то чиркает, чиркает или отодвинет его, упрет руку в лоб, глаза закроет — как уснет. Мама говорит в таких случаях: «Не мешайте, папа изобретает!» И она шутит только наполовину. Папа действительно изобретатель. У него семь изобретений, а рационализаторских предложений — не счесть. Авторское свидетельство такое строгое и красивое, как похвальная грамота в школе, только гербовая печать с алой ленточкой, будто праздничный бант. Их бы в рамку под стекло и на стенах развесить. Папа же их прячет подале от посторонних глаз, словно бы стес-

няется... И грамоты за работу, и дипломы всякие прячет.

Татьяна Дмитриевна, а для меня Таня — мы воспитывались в одном детском доме — тихо рассказывает мне, с каким восторгом Лена пришла от художника, сколько было изумления и разговоров. Шкатулки Палеха Лена всегда считала верхом совершенства, а здесь вдруг шкатулка из березового нароста — капа сама светилась выдуманным природой узором. Фантазия! Она говорит, что ее подделки из папье-маше по сравнению с тем, что она сейчас видела, поблекли. Никакой она не художник...

Мне Коля говорил, что Лена собиралась в художественное... А временное разочарование — не страшно. Ее работы надо будет показать Борису Павловичу. Он ее подбодрит.

Прибегает с улицы Аня, сняв розовыми щечками, говорит:

— А-а мы уже волчок клутим! — Она ходит в секцию фигурного катания — и тут же, не снимая пальто, показывает, как они «клутят волчок».

— А где здравствуете? — прерывает ее мама на самом острие волчка, и Аня шлепается на пол. Сидя, хлопая ресничками, как кукла-моргашка, говорит: «Здра-астуйте!»

На этом ее новости не кончаются, раздевшись и походив вокруг и около, она сообщает:

— А я мостик умею делать. Показать?

— Давай действуй! — говорю я, хотя этот «мостик» видел по меньшей мере раз двадцать. Аня гнется на коврике до тех пор, пока я не начинаю произносить с восторгом: «Здо-о-рово!»

Порозовев еще больше и чуть отдышавшись, она предлагает мне занять место на ковре. Делать ничего не остается, надо повиноваться. Я разминаюсь для вида, размахивая руками, приседаю, и кости мои хрустывают при этом, как старое велосипедное седло. Аня внимательно за мной наблюдает.

— Ну, хватит! Размялся же?

Я делаю «мостик». Аня обходит меня, потом подползает под мой «мостик» и говорит, глядя на меня:

— Лицо повелели к потолку.

— Не могу!

— Зивотик кверху надо, а не вниз.

Я поднимаюсь, отдуваясь парочито громко, говорю:

— Я в ту сторону мостик не могу делать. У меня спинна заостенела.

— Тогда это не мостик, — изрекает Аня убежденно.

— Может быть, — соглашаюсь я, беру ее на колени. Аня что-то щебечет, тепленькое тельце греет мне грудь, а рука ощущает ровный стук ее сердечка. В такие минуты мне вдруг становится до боли жалко, что у меня только одна дочка, что нет вот такой говоруньи и непоседы, которая заставляла бы делать мостик, стоять на голове.

В другой раз она, дождавшись, пока я разделся и сел в кресло, забралась на колени:

— А мы с мамой к логопеду ходили.

— Да ну? И что же?

— Букву «л» потеляли.

— Это не страшно! Будешь слушаться логопеда, букву «р» обязательно найдете.

Вообще надо сказать, что Аня сообщает все самые значительные новости. Так она пожаловалась как-то:

— А Лена не хочет родить мне ребеночка! Я был ошарашен несколько таким заявлением.

— Правильно делает... Лена учится в школе, а сейчас там задают много-много, — на слове «много» я сделал печально-уставшую физиономию, — и чтобы хорошо учиться, надо мно-о-го сидеть над книгами. Вот Лена закончит школу, институт, тогда другое дело. А потом, Анечка, с ребеночком очень трудно: его надо покормить, пеленочки постирать, спать уложить, а я слышал, что ты иногда капризничаешь, спать не хочешь ложиться. Как же так?

— Я холосо буду ложиться.

— Посмотрим, посмотрим, — сказала мама, — теперь, если что, я скажу дяде Гене. Договорились?

— Договорились!

Первая маленькая квартирка Левиных казалась всем нам, детдомовцам, хоромами, а ее хозяйка Таня, с детдомовской фамилией Толстых, осталась, как и прежде, веселой, радуш-

ной, несмотря на то, что она стала зваться Левиной. Приходили сюда детдомовцы, как в свой родной дом, и «гостили», бывало, неделями. Плиты закрывали картоном — получался стол, сидели на ящиках из магазина, которые принесли сюда добычливые детдомовцы, а если и их не хватало, ели стоя — больше войдет. Коля работал и учился в институте, а вчера мы знакомился с «братьями и сестрами» Тани, которых было довольно много, и он порой путал их. Но они, встречаясь с другими детдомовцами, сообщали, что у Тани «мировой мужик», почти такой же детдомовец...

Как-то я спросил у Тани:

— Что тебе запомнилось самое яркое в детстве?

Она улыбнулась.

— Помнишь, когда ты был у нас в детдоме пионервожатым, нарисовал нас в стенгазете за что-то. Не помню уж, за что. Кажется, мы поле проползли кое-как. Так вот, я ходила вокруг газеты и все повторяла: «Фу, противно! Писколетко не похоже!»

Я засмеялся. Действительно, было такое. Учился в техникуме, а летом работал старшим пионервожатым в том же самом детском доме, в котором воспитывался недавно. Почти ровесник своим пионерам. Но что-то получалось, хотя порой директор отчитывал меня как провинившегося воспитанника. Я оторвался от воспоминаний.

— Нет, Таня, я серьезно.

— Если серьезно, то больше всего мне запомнились глаза наших воспитанников-выпускников. Такие грустные, как будто они уходили на войну. Прощались с детдомом навсегда. Мы кончали в детдоме десятилетку, и то было уходить из него страшно. А вы же после седьмого класса. Девочки, пацаны — во взрослую жизнь. Знаешь, Гена, смеялись, пока провозжали, а как прощаться, так все в слезы...

— Ну, может быть, не так все и печально.

— Может быть. Но мне запомнились почему-то эти глаза.

Не в этом ли секрет обаяния, гостеприимства, веселости Татьяны Дмитриевны? Не желает, чтобы кому-нибудь запомнились на всю жизнь грустные или печальные глаза? А может быть, это свойство характера? Как бы ни

было, но с ней легко и взрослым, и детям.

Постепенно устранялись детдомовцы, обзаводились семьями и своими «углами», но дом, в который можно было прийти в любое время, помнят и приходят, но уже реже. Прибыло у каждого своих забот, растут дети.

Лена быстро помыла полы, немного дольше провозилась, обтирая пыль с телевизора и папиных приборов — когда-то он сам собирал и приемники, и телевизоры, сейчас поостыл вроде, а может, времени не хватает, но ведь ходит же «посмотреть» их, если зовут знакомые. И даже часто. Телевизоры стали хуже или папа такой отличный мастер?

Мама в командировке, и папа сам на кухне жарит-парит. Не любит готовить, а показать, что он умеет все делать не хуже мамы — не прочь. Раскусил Лена его воспитательную политику. Хотя готовит он все очень вкусно!

Папа иногда рассказывает маме о заводе, о своих делах. Мама слушает внимательно, подкивает и вдруг огоршит его вопросом:

— Ты о железках мне покороче. Какой эффект? Какая будет производительность?

— Тебе бы только «сальдо и бульдо», — буркнет недовольно он, что прервали на самом интересном месте.

Зато Аня весело подхватит:

— Сальдо и бульдог — кошка с собачкой?

— Да, да, — смеются папа с мамой, — кош-ка, которая никак не уживется с собакой...

— А почему?

— Это уж ты спроси у мамы, она главный специалист по этим вопросам.

— Мама! Ну почему? — допытывается Аня, и мама вынуждена сочинять ей сказку о том, как кошечка лазает по деревьям, а собачка нет. Вот она и завидует, и сердится за это на кошку. А зачем завидовать? Не лучше ли самой попробовать научиться всему, что умеет другой.

Аня подумала и сказала:

— Тогда собачка не будет собачкой!

— Нет, мамочка! — весело отозвался папа, — это уж кому что дано. Кому изобретать, а кому командовать. Командовать хорошо — нелегко. А изобретать — это ка-а-к (он заикается немного, когда волнуется), ка-а-к к-картины писать, дано не каждому...

Лена была благодарна отцу за такие слова. Все надолго замолчали, а потом мама вздохнула и громко сказала:

— Эх, вы! Ну, глупость мама сказала. Признаюсь и каюсь! Разве же я против изобретательства? У нас в детском доме все были изобретателями! Такого, бывало, наизобретают, что воспитатели за голову хватаются... Вон дядя Гена придумал кур ловить на рыбацкую удочку. Нигде не зарегистрировано изобретение, а все помнят. Правда, ему сторож выдал вознаграждение — неделю не мог сесть, стоя обещал, а за партой лежа слушал уроки... Так что, дорогие мои, изобретайте! Изобретайте! Я с вами!

Как-то мы разговаривали с Татьяной Дмитриевной о детдоме. Каждый был занят своим.

Аня с серьезным видом рисовала портрет дяди Гены и не обращала ни на кого внимания. Вдруг она что-то «усекла», подняла голову, оглядела нас внимательно и спросила:

— Вы чо, блатья?

— Откуда ты взяла? — засмеялась Татьяна Дмитриевна.

— Ну вы же в одном доме жили.

— В одном, Апечка, в одном! — улыбнулся я, — и с мамой твоей мы вроде бы брат и сестра. Только нас в детском доме было много! Больше, чем в вашем детском саду!

Аня недоверчиво смотрела на меня, что-то соображая.

— Чо, такой дом большой?

— Да!

— Па всех один?

— Да, дом для всех!

— А где папы и мамы ваши были?

Мы немного замаялись, слишком в непонятные вопросы забирался ребенок.

— Ну, Апечка, где — кто. На войне, на работе, везде, — еле нашелся я.

Аня не по-детски вздохнула:

— А у папы папу на войне убили. Теперь у меня нет дедушки...

С тех пор я часто задумываюсь над такими точными словами ребенка. Дом на всех. Дом для всех!

Зинаида Чигарева

ВСЕ ТРЕВОГИ МИРА...

Размышления писателя о воспитании

ЛЮДИ КАК БОГИ

Когда-то я задумала написать рассказ о юной женщине, только что ставшей матерью. Я хотела передать ее состояние, то, как она заново открывает для себя привычный обыденный мир. Не знаю уж почему, но рассказа я так и не написала. Сохранился только набросок одного эпизода. Вчерашняя беспечная девочка и уже юная мать просыпается среди ночи от внезапного приступа страха. Кругом все спокойно: и муж спит, и новорожденная кроха, а она так и не смогла заснуть до рассвета. Бывает мгновенное прозрение, поражающее, как удар, когда человеку неожиданно открывается нечто глубинное, затененное. Так прозрела молодая мать, ощутив вдруг всем существом своим, какую невероятно огромную ответственность приняла она на свои плечи — ответственность за будущего человека, за его судьбу. Каким он будет, что принесет он людям и обществу — это все зависит от нее. А она сама еще так мало умест и мало знает. И хватит ли у нее силы воли и мужества на этот подвиг материнства? Она счастлива, да! — но все тревоги мира уже властно постучались в ее сердце...

Не знаю, случалось ли вам, молодые отцы и матери, вдруг прозрев, испытать трепет перед выпавшим на вашу долю подвигом (а это подвиг — быть настоящим родителем...)? Наверное, случалось. Все эти чувства естественны так же, как естественно и то, что род грузом повседневности, в работе, заботах и хлопотах постепенно притупляется острота первых впечатлений, мы привыкаем к ним, и все стано-

вится обыденно и не так уж вроде бы и сложно. Конечно, мы беспокоимся о детях, заботимся о них, пытаемся иногда воспитывать, внушая на словах, что «надо делать хорошо и не надо плохо». За что-то прикрикнем, что-то запретим и — успокоимся, сочтя свою миссию на этом законченной. Тем паче, что есть детский сад, есть школа, воспитатели, учителя. А мы, что ж? — мы просто родители, мы специальных вузов не кончали, педагогику с психологией не изучали, какой с нас спрос... И никаких проблесков той благородной тревоги, той первозданной остроты ответственности, что когда-то озарила первые шаги нашей родительской жизни. Вот бы сохранить это чувство да на всю оставшуюся жизнь!.. Многое бы, я уверена, было по-другому.

По известной библейской легенде, бог создал небо и землю. Но главное, он создал людей — Адама и Еву. А разве мы, каждый из нас — от рабочего до академика — не создаем людей? Ежечасно, ежеминутно мы творим человека. Оказывается, этот процесс куда более длительный и трудный, чем создание Адама и Евы. Творим по образу своему и подобию. Да, именно так — по образу своему и подобию. Но кого же мы творим? Каков он будет, созданный нами человек? А вот это уж вопрос вопросов.

У меня, как и у любой женщины, есть свой определенный родительский опыт, не без ошибок, разумеется, не без срывов. И этот мой малый личный опыт, и сама жизнь вокруг меня с обилием самых полярных по сути примеров стали для меня, как литератора, поводом для больших и серьезных раздумий и поисков —

для творчества. Многое из накопленного и передуманного вошло в мою повесть «След добра». Многое, но не все. Поэтому и возникла потребность поделиться на страницах альманаха с товарищами по главному нашему человеческому назначению — родительскому долгу — своими сомнениями, раздумьями, выводами.

Давайте поразмышляем вместе, поищем, поспорим. Ведь воспитание — это тоже в конечном счете творчество.

РОДИЛСЯ РЕБЕНОК

Да, родился ребенок. Радостно и тревожно, не так ли? Кажется, весь он в нашей власти, этот маленький живой комочек. Но вот мама укладывает его спать. А эта человеческая «молескула» вдруг поднимает дикий крик, и в нем недвусмысленно звучит протест против насилия над личностью. Одна моя знакомая называет этот рев «борьбой негров за свои права». Вот так! И с самого первого дня.

Еще совсем недавно прочно бытовало мнение, что ребенок это *tabula rasa*, т. е. своего рода чистая страница, и что мы на ней пишем, то навсегда и запечатлевается. Мы и пытаемся писать. И пишем. Кто что может. А в результате? Пишем одно, а выходит нечто иное, вовсе не отвечающее нашим благим намерениям. Конечно, важно *как* писать. Но об этом потом...

Вот так мы и заблуждаемся с самого начала, принимая новорожденного ребенка за нуль, за начало отсчета. А он далеко не нуль, не чистая страница. На этой странице миллионы лет развития жизни на планете оставили свои письмена. Маленькое звено в бесконечном процессе эволюции. Детеныш, перед которым природа поставила задачу — выжить во что бы то ни стало. Видали вы когда-нибудь, как более сильные новорожденные зверята отталкивают от сосков матери своих братьев и сестер, тех, кто послабее? А разве у человеческого детеныша есть соперники? Но посмотрите, как он жадно хватается материнскую грудь, будто пытается кого-то опередить у этого источника жизни. Здоровый биологический эгоизм. Но все-таки *эгоизм*! А нам надо вырастить *человека*, члена человеческого общества, умеюще-

го интересы общие почитать выше своих личных хотений, ощущать боль чужую так же остро, как и свою, и в особых условиях способного, не задумываясь, пожертвовать жизнью ради этого общества.

Да, нелегка ты, родительская участь! Вступить в поединок с самой природой и непременно побороть ее! Побороть во имя разума и человечности. Вот такие получились высокие слова. Но разве не так по самой сути?

Готовы ли мы к этому поединку? И вообще боремся ли мы? А может быть, потакаем детскому «природному» эгоизму?

ЭТО МОЕ МЕСТО!

Забота о детях в нашей стране — дело государственное. Это ясно каждому, и перечислять все блага, дарованные нашим детям, я не собираюсь. Элементарный пример — городской транспорт с табличками «Места для детей и инвалидов». Но всякие блага — медали, имеющие и свои оборотные стороны, и пользоваться ими надо осторожно и с большим тактом. Весь вопрос: какое отношение мы воспитаем у наших детей к этим благам.

За примерами далеко ходить не нужно, недостатка в них нет. Эти картины в разных вариантах наблюдаются ежедневно.

В переполненном автобусе мое внимание привлек мужской голос:

— Иди садись, тебе освободили место.

Я не видела, кто именно из взрослых освободил место, но мальчуган лет пяти не замедлил тут же воспользоваться приглашением папы. Однако он не сел, ему неинтересно было сидеть, куда интереснее стоя смотреть в окно. Сиденье так и осталось не занятым. Рядом стояла пожилая женщина. По ее лицу было видно, что стоять ей очень тяжело (впрочем, не она ли и освободила это место?). И вот осторожно, бочком она присела на красешек сидения, оставив достаточно «жизненного пространства» для молодого человека. Тот покосился на женщину и — сел. Но не просто сел, а, ерзая на сиденье, начал сталкивать непрошенную соседку. И женщина встала. Вы думаете эта маленькая «собака на сене» осталась сидеть? Ничуть не бывало! Он тут же вскочил

опять, как ни в чем не бывало, стал смотреть в окно. Мама мальчика с другим малышом на коленях сидела спиной к сыну и потому видеть всего этого не могла. А вот папе, стоящему над ним, все было видно прекрасно. Но то ли он не обратил внимания, то ли счел действия сына вполне нормальными, одним словом, он никак на них не отреагировал. А мне стало как-то не просто нехорошо, а даже страшно.

И если бы этот случай — исключение! Посмотрите, как, расталкивая локтями людей, рвется в автобус или троллейбус юное поколение, с ходу взывая: «Где мое место? Где мне сидеть?» И поднимаются с сидений пожилые нездоровые люди, уступая маленьким агрессорам якобы по закону принадлежащие им места. Так ли уж по закону? В Ленинграде, например, я помню, таблички в транспорте имели несколько иное прочтение: «Для инвалидов и пассажиров с детьми». Очень важное уточнение! Одно дело, когда садится женщина с ребенком на руках, а другое, когда мама с тяжелыми сумками стоит в проходе, а ее чадо, которому осенью в школу, валяжно развалилось на сидении.

Мелочи? Да нет. Опасная ситуация. Один из первых жизненных уроков — «это мое место!» — прочно ложится на фундамент врожденного детского эгоизма.

Сейчас у многих любящих родителей бытует мнение, что в наше суровое время воспитывать надо не хлюпиков, а людей, умеющих постоять за себя, а точнее — готовить нахалов и хамов, которые, наступая на ноги и расталкивая всех локтями, будут пробиваться к жизненным благам.

Вне всякого сомнения антигосударственный, антиобщественный характер такого воспитания, в корне противоречащий устоям нашего социалистического строя. Но если даже подходить с иной — утилитарно-бытовой точки зрения, ситуация чревата результатами весьма плачевными. Почему-то родители, внушая детям столь опасные жизненные принципы, совершенно не думают о том, что как раз первыми жертвами явятся именно они сами.

В свое время мне приходилось выслушивать множество горьких исповедей-жалоб: «Я для

него все... ничего не жалела, себя не щадила. Старалась, чтобы ему было хорошо. А он чем отплатил? Ни во что меня не ставит... Хуже того, руку на меня поднял... А я совсем больная... и сил уже нет. Что со мной будет?»

Ну что тут скажешь? Чем поможешь? Слишком запущенная болезнь. Пронзощли необратимые изменения в личности подростка. А началось все очень давно. С первым открытием мира ребенок усвоил прочно раз и навсегда, что этот мир (и мама в первую очередь) существует только для него, для его удовольствия. Попробуй потом переубедить.

Еще одна очень распространенная ситуация.

Кроха научилась держать в руках погремушку — на радость мамы, бабушек, дедушек... Ну разве тут придет кому-то в голову удержать руку ребенка и поостеречься, если он начнет лупцевать этой погремушкой по лицу маму или бабушку? Той больно, но она одобрительно смеется, целует свое сокровище, еще больше поощряя его к таким действиям. И ребенок начинает испытывать наслаждение, причиняя боль другому. А счастливые в этот момент родители совершенно не думают, что уже посеяны ими в душе ребенка семена, которые впоследствии взойдут жестокостью.

Крошечный ребенок — пока еще весь во власти инстинктов, но уже робким проблемком зарождаются первые искорки сознания... Вот когда надо начинать трудные уроки внушения тех святых истин, которые делают человека человеком.

«Больно! Нелзя!» Да, нельзя делать другому больно — такой запрет ребенок должен воспринять в себя с молоком матери. Мне скажут, что малыш не понимает слов. Слов он, разумеется, не понимает, но отлично чувствует интонации — одобряющие, поощряющие его или, наоборот, строгие, запрещающие.

Я считаю: самый первый изначальный шаг в воспитании — пробуждение в ребенке способности сочувствовать, сопереживать, сострадать. Потом это будет сделать значительно труднее. А пока ребенок мал, пока не выработалась в нем привычка к мучительству, постоянные и настойчивые уроки сочувствия, сострадания к окружающим — к маме, к

младшим братишкам и сестренкам, к животным — непременно оставят благотворный след.

РОДИТЕЛЬ, ВООРУЖИСЬ ТЕРПЕНИЕМ!

Расшалившемуся малышу мама строго говорит: «Нельзя!» — и он разражается слезами. Еще бы! Ему так нравится колотить молотком по стулу, но бабушка спит, и ему запрещают шуметь. Обидно! А что сделаешь, преодолеть запрет не так-то легко — и пускается в ход самое сильное оружие — слезы! И надо сказать, далеко не каждый взрослый способен устоять перед этим оружием. И мудра та мать, которая, не поддавшись вредной жалости, сумеет отвлечь ребенка, переключить его внимание на другое. Только ни в коем случае не окрик, не ругань! И не делаю открытия, об этом много писалось, говорилось: окрик как метод воспитания ничего кроме вреда принести не может. И все-таки мы, родители, в своем большинстве кричим, ругаемся на ребенка в трудной ситуации, расписываясь тем самым в собственной беспомощности.

Пример из собственной родительской практики:

Утро. Тороплюсь на работу, и надо завести в детский сад сына. Процесс одевания — нелегкое испытание для мамы. Ребенок капризничает, вырывает руку, не дает засунуть в рукав. Целая проблема надеть ботинок и затянуть шнурки. Я — мама грамотная, я знаю, что нельзя кричать на ребенка. Но я не нахожу ничего действенного, чем в конце концов тот же окрик. А ведь, если разобраться здраво, одевание — процедура весьма неприятная даже для взрослого, а тут ребенок. Надо было бы скрасить ее чем-то, превратить в игру. Но ведь прикрикнуть проще, чем потрудиться проявить фантазию.

Мы уже говорили с вами о том, что воспитание — это прежде всего творчество. И как всякое творчество, требует немалых умственных усилий. А нам некогда, нам не хватает времени и терпения. Главным образом терпения. А должно хватать. На то мы и родители. Вывод моего собственного горького опыта:

главная добродетель родителя — терпение, терпение и еще раз терпение.

Много раз — на улице, в магазине, в транспорте приходилось наблюдать такое зрелище: молодая мама в сердцах дергает за руку малыша: «Что ты спотыкаешься, как неживой! Давай быстрее!» или наоборот: «Стой спокойно, наказание мое! Куда ты лезешь?.. Куда тебя черти несут?» И т. д. и т. п. И все это раздражению, со злом. А ребенок не чувствует за собой никакой вины и потому никак не может понять, за что его ругают. Он просто ведет себя естественно: загляделся на что-то интересное, надоело спокойно стоять...

Но подрастает ребенок, и все чаще возникают конфликтные ситуации в наших отношениях с ним, все чаще его поведение и поступки становятся поводом для нашего раздражения.

— Опять двойку схватил, олух царя небесного! Дурдом по тебе плачет, бестолочь ты стоекосовая! — размахивает мамаша дневником перед носом сына-школьника. У малыша хоть есть на вооружении слезы, а чем защититься подростку? Напускным безразличием, этаким непробиваемой окаменелостью. Или же грубостью. А чем же еще?

А давайте-ка поставим себя на место нашего ребенка. Неужели мы с вами настолько непогрешимы и совершенны и в жизни и на работе, что никаких ошибок, неполадок у нас и не бывает, а? Что бы было, если б с нами разговаривали подобным образом? Если и случается, что начальство повысит голос, ничего — мы за себя уж сумеем постоять, хоть и не всегда правы. Мы уж не дадим в обиду свое человеческое достоинство.

Ага! А ребенок, значит, и не человек? И у него нет своего достоинства? Еще одно весьма распространенное родительское заблуждение.

Подрастающий человек впервые осознает себя как личность, в нем, естественно, пробуждается уважение к себе, с чем мы, к сожалению, не всегда умеем считаться.

Юный человек, открывая для себя окружающий мир и себя в этом мире, вырабатывает и свои оценки — и того что его окружает, и самого себя. Самооценка — это тот

фундамент, на котором основывается нравственное здоровье, внутреннее благополучие всякого человека, или, как теперь принято говорить, его душевный комфорт. Даже последняя пьянь, стуча себя в грудь, вызывает к собутыльникам: «Ты меня уважаешь?» Ему тоже нужно уважение—а как же иначе? Человек просто не может существовать, будучи убежден в собственной никчемности. При этом возможны любые трагические последствия.

Все ощущения, все чувства у подростка обострены до предела, особенно чувство собственного «Я». Повторяю, это естественно, это свойство юного незрелого ума. С возрастом придет трезвая, спокойная оценка себя и своих возможностей, способность мыслить самокритично. Чем раньше, замечу, тем лучше... А пока подросток убежден: он несчастлив, человекство своим появлением, он умнее всех, принципиальнее всех, благороднее всех...

А что же мы?.. Как мы относимся к самооценке подростка?

При умной тактичной позиции многих родителей существует еще две разновидности, две крайности, одинаково опасные для молодого неустойчивого характера.

К какой же категории принадлежим мы с вами, уважаемый читатель? Может быть, к тем сверх меры любящим родителям, которые в малейшем проявлении детской выдумки и сообразительности уже готовы видеть задатки будущего гения? Естественные детские поступки и слова, часто основанные на подражании взрослым, становятся для них предметом чрезмерного восхищения, отнюдь не скрываемого от ребенка. А попытки сделать из него спортивную, музыкальную, математическую или любую другую знаменитость?.. В большинстве случаев это приписит ребенку в будущем тяжкое разочарование, болезненную неудовлетворенность или озлобленность на людей. А если бы они, милые родители, в свое время не культивировали в собственном дитяти столь завышенной самооценки, он мог бы стать вполне нормальным человеком и отличным работником.

Это одна крайность. Но есть и другая, пожалуй, более распространенная. Та самая, о которой мы уже говорили: наше взрослое не-

желание считаться с самолюбием подростка, с его самооценкой. Касается это и многих родителей и вообще тех взрослых, с кем приходится постоянно сталкиваться подростку—в школе, на улице, в магазинах, на транспорте. Вот тут-то и кроются своего рода пожнцы. С одной стороны завышенная самооценка, обостренная уязвимость подростка, а с другой—наше пренебрежение к нему, стремление унижить, оскорбить. Иногда к этому есть повод, а иногда и без повода.

Мне запомнился один случай. Мы с сыном зашли в магазин. Как обычно, толкучка. Я указала ему спокойный уголок за кассой и попросила там подождать меня, сама подошла к кассиру. Кассирша, принимая от меня деньги, увидела сына и закричала: «А ты чего тут отираешься? Чего высматриваешь?» Мальчишка пожал плечами и отошел. Мне показалось, что до него все-таки не дошел весь оскорбительный смысл выкрика кассирши, увидевшей в нем потенциального вора. И слава богу!

А разве мы сами, сталкиваясь с незнакомыми подростками, которые усердствуя в своем самоутверждении, подчас действительно ведут себя вызывающе, тут же не принимаем их за возможных преступников?

Или в школе. Высыпать двсчника на уроке—что тут особенного? Тем более, если в назидательных целях. Сегодня представить его перед классом оболтусом и тупицей. И завтра. И послезавтра... И тем самым нанести удар за ударом по его самолюбию, медленно и верно подрывая в нем его самооценку, самоуважение. Правда, частенько реакция на наши категоричные суждения у ребят, так сказать, наплевательская: в одно ухо влетело, в другое вылетело—на что мы бываем очень сердиты. А ведь это своего рода самозащита. Так же, как и грубость. Надо ведь как-то самоутверждаться. А тот, у кого слаба эта самозащита? В результате вырастает человек, не уверенный в себе, закомплексованный, и в конечном итоге не способный дать обществу того, что бы он мог дать. Ну а те, кто привык «самоутверждаться» грубостью и хамством? Я думаю, что в будущем общество и от них ничего хорошего не получит.

Вернемся к началу нашего разговора о родительском терпении... Оно, между прочим, необходимо не только родителям. И терпение, и внимательность, и такт — как все это важно, когда имеешь дело с ребенком или подростком! И непременно уважение к его личности, к его достоинству.

«Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ!»

А как же, скажете вы, быть? Что же, выходит, чтобы не ранить их самолюбия, нам и слова сказать нельзя?

Почему же нельзя — можно. И нужно. Но смотря какое слово. Оно должно быть и доброжелательно, и строго, и весомо, и убедительно... И в первую очередь авторитетно. Чтобы оно не на ветер было брошено, чтобы ему можно было поверить. Ведь слово, в конце-то концов, всего лишь способ, вернее один из способов, одно из проявлений нашего «Я». А суть, основа — в нас самих.

Мы обижаемся на грубость подростков. А она — зеркальное отражение нашей грубости. Мать ругает сына за ложь. А он отвечает: «А ты сама разве всегда говоришь правду?» Ну что вы на это ответите? Они же видят нас насквозь. Они судят нас. И что судят — это еще не самое страшное. Хуже, когда берут пример. А судьи они, надо сказать, беспощадные.

Мы часто сетуем на нигилизм молодежи, ее критический максимализм. Но это закономерный процесс, некая аберрация внутреннего зрения, вызванная отсутствием жизненного опыта. Полутонов нет, есть только белое и черное — безусловно хорошее и столь же безусловно дурное. Причем хорошее очень неустойчиво, ему ничего не стоит под влиянием какого-нибудь пустяка в момент обратиться в свою противоположность.

Девочка влюблена в учительницу, ей нравится в ней все — и как она красиво и элегантно одета, и какая у нее изящная прическа, и как она держится — уверенно и с достоинством. Пытается даже подражать. Но случай приводит девочку в дом к ее кумиру. Ей открывает дверь немолодая женщина в помятом халате, с уныло обвисшими прядями во-

лос, с серым невыразительным лицом... Все! Конец обожаю.

А бывают ли они правы в своем максимализме? К сожалению, бывают. И чаще, чем нам бы этого хотелось.

— Я тебе не верю! — кричит сын матери, человеку умному и добросердечному. — Ты не добрая, ты только притворяешься... Все вы, взрослые, притворяетесь. Вы обманываете нас!..

Можно, конечно, возмутиться, обзывать сына молокососом, ничего не понимающим в жизни. Но это его ни в чем не убедит и нам уважения не прибавит. А лучше набраться мужества и проанализировать критически свое поведение. Уж так ли оно безупречно! Ну вот! Недавно возмущалась дурным поступком своего начальника. Дома возмущалась, в своих четырех стенах, а в глаза сказать не решилась, струсилa. Об этом был разговор с мужем — сын все слышал. Просила знакомую по телефону помочь приобрести не очень законным путем дефицитную вещь. Может быть, даже для самого сына — какие-нибудь импортные сапоги или модные кроссовки. Кроссовки-то сын наденет, а мать осудит. Вот и растим демагогов. А наши нотации? Наши прекрасные слова о честности и благородстве? Увы! Как часто они расходятся с делом, с нашей житейской практикой!.. Вот откуда оно, это самое: «Я тебе не верю!» Крик души ребенка, выражение его первого и жестокого конфликта с действительностью.

Не думайте, пожалуйста, что неуважение к взрослым, так сказать, изначально заложено в детские души. Неправда. Им очень хочется уважать нас, гордиться нами. Увы! Как редко даем мы им для этого повод! Ну как может сын уважать отца, если тот, явившись домой, основательно запавленный алкоголем, заплетаясь языком распекает сына за плохое поведение или внушает ему, как важно почитать мать? А сам тут же эту мать за то, что она хмуро глядит на пьяницу, и оскорбит всячески да еще и поднимет на нее руку.

Какой же вывод?

Один-единственный. Для того чтобы вырастить порядочного человека, надо самому быть таким. А мы, пожалуй, более строги к детям,

чем к самим себе. Мы прощаем себе и слабости и пороки, а от детей требуем, чтобы они были идеальными. Ничего из этого хорошего не выйдет. У древних, кажется, была такая поговорка: «Врачу! Исцелися сам!» Мудрые слова. Иначе говоря: «Воспитатель! Воспитайся сам!..»

«ХОЧУ НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ!..»

Я прожила жизнь и знаю, как много в ней сложностей и противоречий и как непросто бывает иногда найти правильное решение. Случаются ситуации, в которых родители действительно оказываются бессильными.

Одна из таких сложных проблем — так называемый «вещизм», болезнь, которой якобы одержима наша молодежь.

Люди старшего поколения в назидание молодым любят вспоминать, какими они были в юности непритязательными, модой не интересовались, тряпки презирали, жили духовными запросами, высокими патристическими порывами. Все так. Все правильно. Шла война, мы учились, работали, жили надеждой на победу. Но мы и бегали на танцы, и в кино ходили, и заглядывали на мальчишек (девчонок)... И вот одно личное, очень болезненное для меня воспоминание.

Война только что кончилась. Время трудное, что и говорить. А мне семнадцатый год. Школьный вечер. Подруги весело кружатся в пальсе — кто «шперочка с машерочкой», а кто и с мальчишкой из соседней мужской школы. Девчонки приделались в меру своих возможностей, каждой хочется быть красивой. Возраст ведь такой — первые шаги из детства в юность. А я не танцую, хотя мне этого очень хочется. Я стою у стенки. Разве потанцуюшь, если перешитая из каких-то маминих обносок кофточка так коротка, что стоит лишь приподнять руки, как она вылезает из юбки? И сама юбка перешита из отцовских брюк и потому некрасиво топорщится на боках. Помню я с поразительной отчетливостью до сих пор тогдашнее свое состояние — горькое до слез сознание своей униженности, ущербности. Безжалостная память тех минут тенью легла и на всю мою последующую жизнь, заставляя

страдать от неуверенности в себе, излишней мнительности.

Но тогда ведь времена вообще были небогатые, и никто особенно не блистал нарядами. А сейчас?.. Сейчас, мне кажется, перед молодым поколением в этом плане испытания встают более жестокие, чем перед нами в свое время. Общий уровень жизни вырос несравненно, и тем разительнее проявились контрасты. Очень странные контрасты, не поддающиеся никакому разумному толкованию. Контрасты не между достатком и, так сказать, бедностью — нет у нас этого! — а между тем, что куплено на заработанные деньги в рядовом магазине, и тем, что получено какими-то неисповедимыми путями с баз и из-под прилавков...

Наши дети с молоком матери усвоили основной незгладимый принцип социализма: «С каждого по способности — каждому по труду». А вот наглядность. Света, дочь заслуженной учительницы, ходит в затрешенном пальтишке из «Детского мира» и грубоватых сапожках местного производства. А ее соседка по парте, Танечка, дочка продавщицы из универсама, красуется в заграничных нарядах. Конечно, разумом Света понимает (мама сумела внушить), что одежда не самое главное, что важнее богатство внутреннего содержания человека, его духовные радости. Света живет насыщенной духовной жизнью — и музыка, и книги, и мир знаний, который она с радостью открывает для себя. Но вот беда! Где-то внутри притаилась маленькая, но болезненная заноза обиды: мальчишка, который нравился Свете, отдаст предпочтение Танечке. Потому что она в своих нарядах более привлекательна, чем мылая, но незаметная в своем ширпотребе Света.

Скверно, разумеется, когда за душой у молодого человека пустота, а сверху эта пустота обряжена по экстра-классу. А впрочем, пусть себе обряжаются... Обидно только за наших ребятнишек, за таких вот Свет, за то, что они вынуждены завидовать... А зависть — скверное чувство, оно разъедает душу, порождает вредные комплексы. А что, нельзя разве этого избежать? Но родителю с такой проблемой в одиночку не справиться.

Мы много говорим о том, что наша легкая промышленность должна выпускать красивые и добротные вещи. А какова практика? Она налицо — она на полках наших магазинов. Сердце просто кровью обливается, когда видишь сплошные завалы грубой, жесткой (на ноги и надеть невозможно, разве только на чурбаки), уродливой обуви. Особенно обделены наши мальчишки. По своему горькому опыту знаю, какой это невероятный труд, требующий огромной затраты физической и нервной энергии, — подобрать обувь подростку. А ведь ему хочется, чтобы не хуже других, чтобы не завидовать счастливым обладателям заграничных кроссовок. Они бы и отечественные надел, да где их взять.

Очень обнадеживает опыт обувщиков Свердловска, Армении, Прибалтики. Чувствуется, что дело стронулось с мертвой точки. Своими глазами я видела на полках рижских магазинов обилие тех же любимых молодежью кроссовок всех расцветок и размеров. И что интересно — подавляющее большинство ребят и девочек там в них и щеголяют. Очень редко на ком промелькнет пресловутый импорт.

Пора, наконец, и нашим предприятиям перестать гнать брак в массовом порядке. Наверное, их руководству и инженерной службе, радеющим прежде всего о выполнении хозяйственного плана, даже в голову не приходит еще один важный аспект их деятельности — воспитательный. А пора бы понять, что качество и внешний вид выпускаемой ими продукции — проблема не только экономическая, но и нравственная и социальная. Хотим мы этого или не хотим, но брак на полках наших магазинов в конечном итоге порождает у молодых неуважение к своему, отечественному...

Допустим, однако, что все предприятия легкой промышленности, в том числе и местные, кузбасские, стали выпускать отличные вещи. Что же, выходит, проблема решена, и мы таким образом покончим с вещиизмом у молодежи? Утверждать такое было бы ошибкой, упрощением. Все обстоит значительно сложнее. Вообще-то это особый большой разговор, к которому и надеюсь еще вернуться. А пока скажу тут многое зависит от того, какая атмосфера царит в семье, какова шкала цен-

ностей, принятая в ней. Там, где живут напряженной духовной жизнью, интересами общества, его тревогами и заботами, там нет и не может быть поклонения вещам: золоту, тряпкам, хрусталу и полированным деревьяшкам. Потому что вещиизм — обратная сторона бездуховности, нищеты внутреннего мира. И от нас, родителей, в первую очередь зависит, умеют ли наши дети отличать подлинные ценности от мнимых, от мишуры, или нет. Очень важно, что за душой каждого из нас, какова наша шкала ценностей. А дети? Что ж, дети — они наше зеркало...

ИТАК...

Общество наше — сложный, но единый организм, в нем все взаимно связано, и вся наша «взрослая» жизнь — поступки и чувства, дела и мысли — все так или иначе влияет на формирование юных характеров.

Что и говорить, у нас есть чем гордиться молодежи: воинские подвиги отцов и дедов, наша самоотверженность в борьбе за мир, за сохранение его и самой жизни на земле, подвиги ученых и космонавтов в изучении мирового пространства, самоотверженный труд строителей, осваивающих таежные дебри... Да разве все перечислишь? Но мы сами — каждый из нас в отдельности — достойны ли мы самих себя, своего высокого звания советского человека? Как часто задаем мы себе этот вопрос? И хватает ли у нас мужества честно ответить на него? Хотя бы ради наших детей...

А что им от нас нужно? И мало, и много. Им нужны наша убежденность, честность, значительность интересов, добросовестность и самоотдача в труде, то есть все то, что делает человека Личностью. Вот тогда-то они будут уважать нас, гордиться нами. И следовать нашему примеру. Потому как ничто не воздействует столь сильно и убедительно в процессе воспитания, как личный пример самого воспитателя.

Мы творим человека — творим по образу своему и подобию. Вот давайте и задумаемся в эти слова...

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СУББОТЫ В МАЛИНОВКЕ

Малиновка — рабочий поселок, по существу один из рабочих районов города Осинники. В Малиновке есть известная в Кузбассе шахта имени 60-летия СССР, два угольных разреза, автобаза, две средние школы, 12 тысяч жителей. Ну и больше ничем, кажется, Малиновка не знаменита.

Но именно здесь зародилась и уже три года существует новая форма работы с детьми — так называемые эстетические субботы: каждая четвертая суббота месяца посвящена урокам эстетики;

эстетическим воспитанием охвачены все учащиеся поселка;

в процессе работы закрепляются межпредметные связи, рассматриваются во взаимодействии различные виды искусства (в субботы принимают участие и артисты Новокузнецкого театра, и музыканты, и сотрудники Новокузнецкого музея изобразительных искусств, и писатели);

развивается творческая самостоятельность учащихся.

Здесь сложилась оригинальная система воспитательной работы.

Инициатором эстетических суббот в Малиновке была администрация шахты имени 60-летия СССР. На научную основу дело было поставлено Новокузнецким педагогическим институтом. И большую роль в осуществлении эстетических суббот в Малиновке играла и играет Кемеровская писательская организация.

Не случайно три года назад, когда еще только-только зарождалось малиновское начинание, на собрании Кемеровской писательской организации было принято решение о шефской помощи школам поселка Малиновка.

Формы этой помощи различны.

В школах Малиновки разработан курс кузбасской литературы, рассчитанный на старшие классы, и на каждое занятие приезжают профессиональные писатели.

Проводятся встречи с писателями, беседы, читательские конференции.

На таких занятиях затрагиваются многие актуальные вопросы: речь идет о нравственном облике нашего современника, о связи современности и истории, о трудовом героизме наших земляков, об экологических проблемах Кузбасса. Интересными и важными для учащихся были встречи с писателями Г. Юровым, В. Куропатовым, Г. Емельяновым, В. Мазаевым, В. Махаловым, З. Чигаревой, В. Баяновым и многими другими.

Одна из форм работы писателей с учащимися Малиновки — это и ежегодные вечера юмора, проводимые обычно в ДК «Прогресс» и привлекающие не только школьную, но и взрослую аудиторию.

Три года шефства Кемеровской писательской организации над школами поселка Малиновка дают результат:

учащиеся знают литературу родного края; знают, чем живет сейчас Кузбасс;

общение с писателями пробуждает и творческие импульсы детей;

повышается и общий интерес к литературе.

Но шефство над поселком Малиновка не исчерпывается работой со школьниками.

К эстетическим субботам привлечены и родители учащихся, и ветераны труда.

Кузбасские писатели не раз встречались с активом шахты имени 60-летия СССР, выступали перед трудящимися, знакомились с жизнью коллектива шахты.

Так возникла и обратная связь: Малиновка дала некоторым нашим авторам материал для творчества.

Думается, что в будущем формы шефской помощи Малиновке будут совершеннее и разнообразнее, а самый опыт Малиновки найдет последователей — ведь вопрос об эстетическом воспитании личности — один из важных вопросов времени.

Л. НИКОНОВА.

г. Новокузнецк

Мэри Кушникова

ПЕРВЫЕ КОММУНАРЫ

В 1920 году на территории Кузбасса появились первые тринадцать коммун. В следующем году их было уже 108. Многие распались. Другие же послужили основой для будущих колхозов. В 1979 году из Топкинского района мне прислали пакет. Это были материалы о двух коммунах: «Зародыш» и «Красная Поляна».

Писала молодая женщина, с которой я, будучи в командировке в Топках совсем по иным делам, случайно заговорила о волнующей меня теме. Откликнулась она тогда живо и горячо. Однако присланный текст, к сожалению, оказался сухим, сугубо информативным.

Он был очень ценен для познания, но никак не касался самого сокровенного: того светлого взора в будущее, без которого коммуна как явление не состоялась бы. И еще. Почему же одни коммуны распадались, другие вырастали в прославленные колхозы? Наверное, не только объективные обстоятельства, но в большей мере психология людей определяла судьбу коммун, без которых немыслима была бы сама идея коллективизации. Именно те, первые, наивные и дерзкие коммунары сломали психологический барьер между «мое» и «наше», без чего возможно ли торжество социализма? Но об этом в полученном тексте не было ничего. Я отправилась в Топки. В отличный маленький музей, душой которого можно назвать бывшую учительницу Клавдию Севастьяновну Чужайкину.

Есть в экспозиции Топкинского музея особый раздел. Он посвящен первым коммунам 20-х годов. На фотографиях — лица людей, многих из которых уже нет в живых. Нехитрые предметы красноречиво характеризуют быт первых коммунаров. С красочной грамоты глядит на нас сама история. Титульный лист радушен — он подобен щедрому летнему полдню. Цветы, колосья, знамена и ленты украшают его. Круглая печать коммуны «Красная Поляна» удостоверяет: эта грамота выдана в 1935 году «Ударнику колхозного строительства Гулевищу Константину Васильевичу, живущему в селе Зарудино».

Но разве был бы возможен уверенный эпиграф на этой грамоте — «старая деревня ушла в прошлое навеки», — если бы не был пройден сокрушительный и дерзновенный этап первых коммун! Когда коммунары жили в общем бараке и «мануфактуру» (ситец) делили поровну, даже если на каждого приходилось по одному метру. Когда, помимо своих прямых занятий, коммунары по вечерам и ранним утром ладили добротные кадки, ведра, теса и ушаты. Это не было «хобби» заполняющих досуг самодельных умельцев, — это «работались» изделия-кормильцы. На них и выменивали в окрестных селах муку и крупу, а главное — зерно, без которого невозможно была сама жизнь.

Нет, — с Константином Васильевичем Гулевищем надо было встретиться срочно.

Он оказался сухощавым, подтянутым, подвижным. Вперемежку с сединой вились, свободно падая на лоб, рыжеватые пряди. Прозрачные, очень светлые глаза укрывались в сети морщинок. Глаза и морщинки не сживались. На лице Гулевища соседствовали, не сливаясь, две поры жизни.

Он гордился своим садом. На грядках пылали пионы. Ухоженность была особо приметна во всем хозяйстве Гулевища.

Его супруга уже никак не напоминала юную активистку, которая поднимала «пионерские массы» на помощь взрослому во время летней страды. Спокойное лицо, усталые руки. Красивые, рабочие руки, которые помнят теплую землю, шелковистые крутые бока множества буренок, которых она, доярка, многие годы пестовала...

Поехать с нами на место первых коммун? Константин Васильевич готов. Вот только переоденется... Он вышел к нам в белой сорочке, в которой выглядел совсем молодожаво.

Когда мы подъехали к полю, солнце садилось. Буйно зеленели травы... На месте бывших коммун не сохранилось ничего. Только земля, которую глубокие рвы с давно сглаженными

краями словно уложили плавными складками. Он стоял среди складок земли и рассказывал.

— Вот тут были жилые дома-бараки, а вот тут скотный двор, а это, видите, — стоит клуб, а тут — школа...

Много позже я получила тетрадь воспоминаний Гулевича.

Теперь, когда его уже не было в живых и я радовалась горькой радостью, что довелось с ним встретиться и что был все-таки тот разговор на весеннем поле, со страниц полученной тетради попеременно звучал то голос мальчика, то голос умудренного годами человека, ставшего свидетелем, а потом и горячим участником поворотной вехи нашей истории. Тетрадь так и называлась — «Из воспоминаний Гулевича К. В. о коммуне и коммунарах...»

Полистаете ее страницы:

«Коммуна «Красная Поляна» была организована 8 января 1921 года братьями Лесниковыми: Иваном, Львом и Степаном Петровичами. Возникла коммуна в тайге на реке Барзас, в деревне Рудниковке Ермаковской волости Щегловского уезда Томской губернии. Теперь это территория Кемеровской области Ермаковского сельсовета Березовского горсовета.

Одиннадцать семей из деревни Рудниковка стали членами этой коммуны. Первых коммунаров по праву можно считать первопроходцами в неизведанную жизнь. Их жизнь — подвиг в борьбе за становление нового начала на развалинах старого мира!»

Да, это был подвиг! Ибо что такое 1921-й год на территории Кузбасса?

«После изгнания колчаковцев в Сибирь осталось 40 тысяч белых офицеров и множество других контрреволюционных элементов. Остатки разбитых колчаковских войск и кулаки стали ядром банд, терроризировавших население. Банды действовали в Кузнецком и Щегловском уездах вплоть до осени 1922 года», — читаем мы в истории Кузбасса.

Представим еще и разруху 1921 года. И мы поймем, что такое был подвиг коммунаров.

...В тот весенний вечер, казалось, сама земля говорила с нами. «Создать коммуну, стать членом коммуны — для этого какое нужно было мужество, но прежде всего — самим решиться поломать уклад жизни, который стоял веками. При том, что никто не знал, что принесет неизвестное новое. Но люди решились и шагнули в неизвестность. Наверное, это и были первые шаги по укреплению основ Советской власти», — рассказывал Гулевич.

Как возникла «Красная Поляна»?

В 1900 году деревни Рудниковка и Ермаки были основаны белорусами-переселенцами из деревни Рудни теперешней Гомельской обла-

сти, что стояла на реке Сож. Приписаться в степи и лесостепи белорусам-переселенцам не удалось.

«Крестьянский начальник предложил им освоить тайгу в районе реки Барзас. Приехали они, построили шалаши, землянки, и началось освоение. Сколько нужно было труда, чтобы отвоевать у тайги землю под огороды и пашни, сколько надо было умения и пота, чтобы эта земля начала кормить людей! Эти люди знали истинную цену хлеба. Они знали истинную цену жизни!..»

Со страниц тетради Гулевича звучит продолжение рассказа, начатого тогда, в июле:

«В дни гражданской войны Рудниковка стала партизанской деревней. Она и была под особым прицелом колчаковских карателей. Зверствам не было предела. Братенкова Алексей беляки заживо сожгли на костре из бересты. Партизан Ключинский Семен Иосифович был схвачен, избит и увезен в Томскую тюрьму, где и погиб. Дом партизана Гулевича Stanisлава Петровича беляки облили бензином и сожгли дотла. Самого же Гулевича расстреляли по подозрению в причастности к партизанскому отряду. До самой смерти на теле многих жителей села сохранились рубцы и шрамы — память о колчаковских плетях и шомполах, — пишет К. В. Гулевич. — Про Матрену Матвеевну Ключинскую, мать партизана, я знаю, что она не успела скрыться в тайге от карателей, окруживших деревню. Они схватили Ключинскую. Во время допроса ее порвали шомполами. Стальные прутья рвали тело. Она потеряла сознание. Беляки бросили ее на обочине дороги возле ее дома. Они были уверены, что жизнь ее угасла. Ночью Матрена Матвеевна пришла в чувство и уползла. Постучалась в дверь Гулевича Василия Степановича. Жена Гулевича спрятала ее в бане под полком и лечила мазью на гусином сале. В то время в большом ходу были разные домашние средства от ран. Настолько были привычны расправы беляков... Когда вернулись силы, Матрена Матвеевна на день уходила в тайгу, а ночью возвращалась в баню».

Но минула злая година. Началась мирная жизнь... Вечерами заседали будущие коммунары — обсуждали, как жить дальше. Избрали совет коммуны «Красная Поляна». В него вошли братья Лесниковы, Гулевич Николай Тимофеевич и Ключинский Трофим Иосифович. Председателем коммуны избрали Льва Петровича Лесникова.

«Долгое время прикидывали, где и как жить коммуной. Некоторые хотели остаться в Рудниковке и жить как жили. Другие несогласились и предлагали переселиться в лесостепные районы. Потому что жизнь в тайге была очень нелегкой. Подзолистая земля родила

плохо. Хлеба не успевали созревать, и их прихватывало заморозками. Хлеб из такого зерна был черным и невкусным. Да и не хватало его. С окрестными лесостепными районами коммунары были хорошо знакомы. А еще мучила обида, что при переселении из Белоруссии они так и не смогли принисаться и жить в этих благодатных местах. Загнала их нужда в тайгу, в комариное царство, — так и жили.

Поэтому и победили в спорах и обсуждениях сторонники переселения в лесостепь. Щегловский уком предложил коммунарам «Красной Поляны» соединиться с коммуной «Заря», которая возникла в Щегловске. Что и было сделано в конце января 1921 года. Но порядки в коммуне «Заря» не понравились таежникам, и они решили всем скопом переселиться на свободные бывшие кабинетские земли Топкинского района Зарубинского сельсовета, — пишет Гулевич.

Послали ходоков. Они облюбовали новое место, и в апреле 1921 года началось переселение. Огромный обоз двигался по весеннему бездорожью. Коня с трудом тащили телеги. Взрослые и подростки шли пешком. Сидели на возах только дети и старики. В намеченном месте телеги остановились. Взору коммунаров открылась полянка с редкими стройными березами. За полянкой — маленькая речушка Сосновка, а за ней бескрайние поля с березовыми рощами.

Вот на этой полянке около старых высоких берез начали коммунары строить шалаши. Так начиналась жизнь на новом месте...

...Итак, — коммуна «Зародыш», организованная в селе Дедюево братьями Скульскими. Председатель — Николай, секретарь комсомольской ячейки — Алексей. А всего-то в коммуне «Зародыш» девять семей. Одно такое семейство — Щепакова Терентия Ивановича, партизана гражданской войны, с чадами и домочадцами мы видим на фотографии в Топкинском музее...

...Коммуна «Красная Поляна» Зарубинского сельсовета, созданная 8 января 1921 года белорусскими переселенцами. Со страниц рукописи Гулевича звучит мальчишеский голос:

«Здесь было все не так и не такое, как у нас в тайге. До сих пор мы, дети, не видели ничего другого. Родились и жили в тайге, она была для нас самым близким, родным и любимым уголком земли. Другой земной красоты мы не знали. Отец, правда, часто рассказывал, как он до переселения в Сибирь был плотником, уходил из своей деревни на заработки и нанимался на работу по сплаву леса вниз по Днепру. Все, что он видел сам на этом пути от Белоруссии до Черного моря, бывало, рассказывал нам».

Подросткам тоже хотелось побывать в но-

вых местах. И вот — они на новом месте. Радость и любопытство наполняли душу. Долго казалась нам непривычной природа: море цветов, огромные стаи птиц. Особенно поразило лето: земляники и клубники так много, ягода такая вкусная, что первое время дети обедались ею. Только дивились, что ягода растет прямо на земле, а не на высоких ветках, как таежная малина и смородина...

Коммунары не порывали связь и с тайгой. Они везли из тайги лес, кедровые сутунки, таежную бересту. Дети с нетерпением ждали таких привозов, потому что взрослые не забывали о них: они привозили шишки, орехи, хвойные ветки.

Когда прибывал обоз, в коммуне пахло тайгой. На столах пилили плахи, тес, от опилок шел знакомый аромат тайги.

Зиму 1921—1922 годов коммунары запомнили особо. Нужно было сохранить скот, подготовиться к весеннему севу 1922 года. Работы шли полным ходом. Кто возил сено, кто — дрова, а кто ухаживал за скотом. Хлеба не было, не только для еды, но и для посева. И все-таки зимой коммунары хоть и голодали, а сберегли зерно на посев!

«По трое-четверо охотников уходили на охоту за зайцами и другой дичью. Зайцев в то время было очень много. Собаки были таежные. Зайчатина зимой нас сильно выручала. Многие занимались выделкой кож и овчин — времени не считали... Трудовой день продолжался по шестнадцать и по восемнадцать часов. В длинные зимние вечера допоздна стучали топоры, летела щепа, струилась стружка. Логушки, квашонки делали так искусно, что казались они цельнолитыми из дерева. Все, что делалось тогда в коммуне, было добротное, надежное, при высоком качестве», — с гордостью вспоминает Гулевич.

Женщины доили, пряли, ткали, вязали, шили, убирали, стряпали и кормили всех. Вставляли ранше всех и ложились последними. Так, в трудах, прошел первый год коммуны.

Весной 1922 года коммунары отсеялись хорошо. Летом за посевами ухаживали как за детьми, загодя землю заготавливали для посева 1923 года. Бытовало такое выражение: «драть залог» — это значит пахать целинные земли, а было их видимо-невидимо, и в течение многих лет коммунары поднимали целину.

Летом 1922 года строили дома. Очень у коммунаров было плохо с жильем. А строительной бригады не было. И тогда поднимались на работу все, еще до восхода солнца. Выходили на работу до завтрака, мужчины с топорами — строить дома, женщины доили коров, кормили свиней, кур, готовили завтрак. После завтрака шли на прополку, а в сенокос — на уборку сена. Так и работали — с зари дотемна, но до зимы 1922 года построили

еще четыре дома. И теперь их стало пять. Коммунары переселились из землянок в дома по две-три семьи в каждом. Половину одного дома отвели под школу.

«Мы очень уважали нашего первого учителя Сергея Степановича, бывшего красноармейца из конницы Буденного. Очень многим мы ему обязаны. Он был небольшого роста, живой, подвижный. Еще его уважали за то, что он был «партийный».

Книг, тетрадей, карандашей почти не было. Учиться было трудно, но они учились. Да еще с каким старанием. Режим дня был расписан четко: до обеда — в школе, после обеда быстро готовили уроки, и — на работу. Помогали взрослым ухаживать за лошадьми, чистили дворы, задавали корм, пилили дрова — переносили куда скажут взрослые. Им нравилось строить. В этот год для мелкого скота и птицы построили избушки. Это было их «собственное творчество». Так что этими избушками дети очень гордились. Наконец, построили баню вместо прежней — временки. Уж и парились наши коммунары, сколько радости было!

21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин. Коммунары и коммуна были в трауре. Наступил день похорон. Две коммуны «Красная Поляна» и «Зародыш» с траурными знаменами пошли друг к другу. Почти на полпути к «Зародышу» у мостика через маленькую речушку на поляне состоялся митинг. Ораторы говорили о великом горе. Коммунары не стеснялись слез. Плакали. Смерть Ильича еще больше сплотила их ряды. Вся молодежь коммуны стала комсомольцами, все школьники — пионерами. Коммунары вступали в партию.

Кулаки соседних деревень злобно косились на коммуны. Только беднота сочувствовала коммунарам. Взрослые члены коммуны были вооружены, все имели винтовки, много было охотничьих ружей. Так и пахали с винтовками за плечами. Окрестное кулачье и сельские жители знали о дружности коммунаров, знали и о винтовках. Это имело немалое значение. Коммунары — бывшие солдаты, опытные таежники и охотники — сумели бы постоять за себя.

Авторитет коммуны рос с каждым годом. Гулевич Николай Тимофеевич, член коммуны и член совета коммуны, стал председателем Зарубинского волкома. Потом заменил его Ключинский Трофим Иосифович.

Члены коммуны вели большую агитационную работу в окружающих деревнях. Молодежь, комсомольцы коммуны выезжали в другие села с постановками, спектаклями, проводили беседы — особенно против религиозного мракобесия.

«13 лет жила «Красная Поляна» по уставу коммуны, вплоть до начала коллективизации. Только в 1934 году перешла она на устав

колхозной жизни. Много лет на коммуны кулаки и прочие враги Советской власти клеветали. О коммуне и коммунарах сочиняли небывлицы: коммунары-де спят под общими одеялами, женщины-де в коммуне общие. Кулаки пускали слухи, будто коммунары лодыри, работать не хотят, живут за счет субсидий от государства, за счет денег, которые кулаки платят в виде налогов. Только все меньше веры было этим слухам...»

«Красная Поляна» процветала. А как же коммуна «Зародыш» — почему не выстояла она? Константин Васильевич рассказал и об этом. Не в рукописи, а в тот весенний вечер, стоя на зеленоющем поле бывших коммун...

...«Жителям «Красной Поляны» была известна коммуна «Зародыш» в деревне Дедюево в одном километре от нас. Школа была только в коммуне «Красная Поляна», так что все дети «Зародыша» учились в этой школе. Коммунары часто бывали друг у друга в гостях. Молодежь обеих коммун была в большой дружбе.

Коммуна «Зародыш» была по тому времени видной и богатой. Мы завидовали «зародышцам», ходили к ним смотреть на породистый скот, лошадей-производителей, быков, сушилку, сложную молотилку и другие машины. К 1925 году коммуна «Зародыш» получила американский трактор «Фордзон». Он был чудом для нас и производил куда больше впечатления, чем полеты в космос сегодня.

Но дела в коммуне «Зародыш» шли плохо. Не было там сплоченности и единства и не было нужной организации труда. Кормов они заготовили мало, скот болел чесоткой. Чесоточный скот, особенно лошадей, вывозили на усадьбы и уничтожали. Наши коммунары попросили «зародышцев» не убивать лошадей, а передавать их нашей коммуне. Одну землянку-барак люди уступили для больных лошадей.

Как лечить и выхаживать больных лошадей, коммунары знали хорошо. Более десятка таких лошадей у нас в зимних условиях поставили на ноги. Причем нужно было еще не заразить свой скот. Больных лошадей мыли крепким раствором купороса. В бараке-землянке топили печи, чтобы лошади быстро обсыхали в тепле. Потом их смазывали мазью, которую готовили на дегте. В мазь добавляли горячую серу и порошок черного дымного пороха. В землянке сделали специальные подвесы с соломенными подушками. Сами кони подниматься и стоять на ногах не могли. Их поднимали, подстраховывая специальной системой. Лечение, уход, хорошее зеленое сено делали свое дело. Лошади выздоравливали».

Как жили коммунары «Красной Поляны»? Тяжело жили, но не жаловались. Основной пищей коммунаров была конина. Детям же, кроме конины, давали понемногу овсяного киселя с молоком. Зато летом ели вволю. Было больше молока, появлялась ягода, собирали щавель, пучки, гусинки и множество других трав — из них варили щи.

Почему не выдержали «зародышцы»? Гулевич считает, потому, что они были жителями окружающих деревень и поселков. Им неведома была тяжелая жизнь ташежников. У многих «зародышцев» родственники жили здесь же, в окрестных деревнях и выселках. И вот «зародышцы» прикидывали и приглащивались, оценивали жизнь, сравнивали с жизнью своих родных. У них был про запас «другой берег». И не было у них того, что было в партизанской ташежной деревне Рудниковке — памяти об общей беде. Они не пережили того, что перенесли в гражданскую войну белорусы-переселенцы, коммунары «Красной Поляны». Коммунарам «Красной Поляны» отступать было некуда. Да и незачем.

Поэтому коммуна «Красная Поляна» стояла и через тринадцать лет стала небольшим, но крепким и хорошо организованным колхозом Зарубинского сельсовета Топкинского района.

Коммуна же «Зародыш» в 1926 году распалась. В 1925 году из ее состава вышли несколько семей и образовали коммуны «Муравейник». Поселились они в километре от «Красной Поляны» и «Зародыша», так что между тремя коммунами получился почти равнобедренный треугольник.

В 1926 году оставшиеся в «Зародыше» коммунары тоже влились в коммуны «Красная Поляна».

Прекратила свое существование и коммуна «Муравейник». А коммуна «Красная Поляна» в 1925 году стала образцовым хозяйством...

Вот какие данные на 1 января 1926 года

приводит К. В. Гулевич в своей тетради:

«Всего в коммуне было 66 человек: мужского пола — 31 человек, женского — 35, трудоспособных мужчин — 20, грамотных — 21, неграмотных — 10, трудоспособных женщин — 18, грамотных — 7, неграмотных — 28, членов партии — 8 человек, из них мужчин — 6, женщин — 2, комсомольцев — 15, из них мужчин — 8, женщин — 7, пионеров — 27, из них женского пола — 12, мужского — 15.

Жилых построек: домов — 10, всего хозяйств — 136, водяная мельница, маслозавод, кузница, пасека — 31 колодка, рабочих лошадей — 20, жеребят — 10, коров — 43, бык-производитель, овец — 84, ягнят — 76, свиней — 366, поросят — 27, сноповязалка — 1, самосброска — 1, сенокосилки — 3, куколетборщиков — 3, граблей конских — 2, молотилка — 1, веялка — 1, рядовая дисковая сеялка десятирядка — 1, общая стоимость хозяйства — 23734 рубля, задолженность государству — 5044 руб. Такое хозяйство было на 38 трудоспособных человек».

...Я думаю о двадцать первом веке. Когда человечество будет отдалено от коммун двумя столетиями. Как ценны будут эти цифры. Как будут гадать потомки, пытаясь представить, какими же отважными, даже необыкновенными людьми были коммунары, взявшие на себя тяжесть исторического эксперимента — ведь до того никогда и нигде таких коммун не было!

...В гот весенний вечер на месте бывлой коммуны «Зародыш» мы слушали молча Константина Васильевича Гулевича. И не сговариваясь, как-то сразу пришли к единой мысли: хорошо бы воздвигнуть на месте всех первых коммун мемориальные стелы или обелиски! И пусть в такие места только раз в десять лет забредет хоть один человек — все равно обелиски должны сообщать, что здесь вписаны особые строки в развитие человеческого сознания и, стало быть, в развитие человеческого общества.

Александр Казаркин,
кандидат филологических наук

ДИАЛОГ О ВОСПИТАНИИ ПРИРОДОЙ

Лучшим наставником и воспитателем людей является природа, — причем природа, так сказать, в сыром виде, а не природа, превратившаяся в историю или культуру человечества.

Андрей Платонов

«Не уронится и не призорится мать сыра земля, и да не уронится и не призорится промысел мой, добыча моя. Аминь!» Это заклинание, дошедшее от предков-язычников, охотник шепчет перед тем, как всадить пулю в новорожденного — в совсем еще слабенького теленка маралухи. Знает стрелок, что мать все равно придет к упавшему детенышу, на то она и мать, и действует он с холодным расчетом. Конечно, она пришла и была смертельно ранена. Но «призорилась» сама жизнь беспощадного браконьера: он заблудился в тайге, вдруг ставшей враждебной к нему. Умирая, молит он о спасении; «и думалось ему, что это она, тайга, не пропускает слабый шепот его до неба, до спасителя».

Почему эта сцена воспринимается как притча, иносказание? Иногда кажется, что природа мстит нам. Видно, подсознательно живет в человеке чувство вины перед землей, будто вершит она воздаяние, закон справедливого возмездия. Но это сам человек, по неразумию, жадности или черствости обрушивает на себя силы земли.

Предок-добытчик, идя на промысел, заручался согласием духов земли. С нею он беседовал, каялся и клялся ей. Нынешний мощно вооруженный браконьер только на пороге гибели взывает к силам земли. Погибая, вспоминает, что земля нам всем — мать. В повестях Виктора Астафьева — цитатой из «Стародуба» я начал — повторяется эта многозначная ситуация: на пороге гибели ни во что не верящий хапуга-браконьер начинает молиться. Молит землю, которую только это беспардонно обворовывал. К печальному обобщению приводит он читателя в диалоги «По-

следний поклон» и «Царь-рыба»: туристы и браконьеры — вот кто преобладает на земле.

Но есть в современной сибирской прозе и другой герой, традиционный для русской литературы. Мы почему-то перестали его узнавать. Это последние истовые крестьяне Сергея Залыгина и Валентина Распутина. Они еще во власти земли: «Ей все одно, земле, какие тут слова, Митя, мы с тобой говорим... Вот она лежит сию минуту под снегом, вроде мертвая. Скоро таять начнет. Отчего это! Ты скажешь: от солнца... А я скажу еще и другое: от дум мужицких». Очень верно понимают они судьбу человеческую — следовать указу природы. От земли все шло прежде — лад в быту, изобилие в доме и в государстве. Она диктовала экономию: «Порядок требуется и порядок, — говорит герой Залыгина, — не то растащится-разворуете все, и вместо великого богатства настанет нищенство». По мнению главного героя «Комиссии», бог должен быть мужиком-землеробом, иначе какая же справедливость и откуда у него разумение жизни!! А самый страшный призрак видится им где-то впереди. Это человек, разлюбивший землю, но наделенный большим знанием и силой: «Человек, того и гляди, каким-нибудь образом вовсе отпрыгнет от земли. В какую-нибудь окончательную войну между собой. В войну людей со всей остальной живой тварью. Тоже ведь гражданская война».

Помни родство, чти корни жизни. Заповедь эту внушают нам герои писателей-сибиряков, с которыми Сибирь вышла к высочайшим вершинам современного искусства. Наверно, их выводит большая тема и нацио-

нальный характер. В приспособлении к суровой природе, в борьбе и содружестве с нею сложился сибирский русский тип, его мораль, его эстетика. Тот же, кто безжалостно, руководствуясь одной лишь ближайшей выгодой, уничтожает красоту земли, а с ней — и воспитуемый человеком-художником пейзаж, равнодушен к истории своей страны, живет только сегодняшним днем. Что ему до того, что средообразующая роль леса — созданный среды здоровья — в восемьсот раз выше чисто экономической стоимости древесины!! И кто может измерить ценность леса для поколений потомков? Вот парадокс, отмеченный Л. Леоновым еще тридцать лет назад: «Мы многое отняли у потомков — их же именем»...

Не ясно ли: бесчинство в природе — это результат недовоспитанности, «духовного недокорма»? Человека наделили материальными благами, но где-то он недобрал элементарных норм добра и справедливости по отношению к «братьям нашим меньшим» — зверям, птицам. Литература наша давно уже сеет тревогу, твердит трудную правду о природе. Ведь морально полноценную личность можно воспитать только правдой. Ничем, кроме правды. А привычки, как и идеи, имеют свою родословную. Рядом с верой в гарантированное машиной будущее идет тень ее — ленивое безразличие.

Роль природы в формировании личности, воспитующая сила ее... Пока этой темой ни одна наука вплотную не занялась. Но этим настойчиво, с неистовством прорицателя занята литература. Причем давно, обилие природы в прозе и поэзии — национальная отличительная черта русской литературы. Ныне эта тема приобрела небывалую остроту, и все очевиднее становится истина, высказанная М. Пришвиным: «Сохранять природу — значит сохранять родину».

Настоящее искусство всегда рождалось в душе о Родине. И даже «производственная проза» выходит к отметкам большого искусства, когда честно и разносторонне ставит вопрос о душе работника, о следе его на земле. Тогда она перерастает узкое задание производственной тематики и становится просто литературой, искусством слова. И это хорошо видно опять же на творчестве прозаиков-сибиряков: Вилия Липатова, Олега Куваева, Владимира Мазаева. Как ни обширен мир героев Липатова, слишком редко его герои оказываются один на один с природой, на randevu с нею, без производственной программы. И насколько выигрышнее толкование природы в прозе Мазаева и Куваева, там, где производственная коллизия — лишь отправной момент для разветвления истинно человеческих, «печных» конфликтов.

Задумавшись о воспитательном прицеле

«производственной литературы». Как часто в ней воспевается «колесная жизнь», легкость перемещения с территории на территорию. Это как раз противоположность оседлости, душевной укорененности — той высшей ценности, какую выносила проза о крестьянстве. «Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко будет», — замечает героиня Валентина Распутина. Она рассуждает и понятно, и здраво, но многие, ох, многие, способны лишь пожать плечами. «Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в малой доле на ней... А вы че с ей сотворили!.. Старших не боятесь — младшие спросят...

— Человек — царь природы, — подсказал Андрей.

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет».

В этом диалоге бабки с внуком наводит уныние полная глухота внука. Он сыплет штампами, он уже мыслит как покоритель и завоеватель природы, хотя жизнь его только-только начинается. Где-то его научили: нельзя ждать милости от природы. И к ней, стало быть, не стоит проявлять милосердия. А ведь царь-деспот рано или поздно остается без царства.

В прозе Распутина, Залыгина, Астафьева прошлая крестьянская Россия спорит с настоящим. Вернее, вскрывает нерешенные вопросы, из них главный — цена прогресса техники. Если он, прогресс, совершается ценой утраты матери-земли, то не слишком ли завышена цена! Если при этом еще теряются самые естественные, коренные чувства — привязанности к родителям, обязанность перед родом, предками, то что же это за человек!! Посмотрите, насколько самобытнее, глубже и человечнее умирающая старуха Анна ее детей, многое повидавших и ничего не приобретших. Они торопят смерть матери, чтобы, отделившись от обряда похорон, поскорей вернуться к своим городским заботам. А чем же так занята младшая, любимая дочь Анны, что не смогла проводить мать в последний путь и проститься с «родовой»? Чем! Да, разумеется, горками-стенками, кухней и туалетом. А если б даже и научными изысканиями, — разве не малость это перед естественным человеческим долгом и чувством! Но чувства нет, о долге забыто, малая родина давно не зовет. Вот образ легкой жизни. Человек, настолько облегчивший, опорожнивший свою душу, куда как легко идет по жизни. Только вот куда же он придет-то! И что, кроме эгоизма, несет он с собой!

Этот стиль жизни основан на поклонении не природе, а машине. Как раз об этом старые и вопрошают молодых в мире Распутина: «Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че ишо осталось а че уж ветром

унесло... Нет, он тошней того — ну понужать, ну понужать!.. Дак ить он эдак надсадится, надолго его не хватит... Машины на вас работают. Но-но. Давно уж не оне на вас, а вы на них работаете — не вижу я, ли че ли!.. Оне с вас все жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки... Вы за имя тянетесь». Что ж это — оправдание лучины и лаптя! Или о чем-то другом речь! Гонится человек за машинным ритмом жизни, и вот сам он уже не тот, что вчера, и земля не та: «Жить пущен, а ему, ишь, другого себя подавай».

Черствый практик Базаров был, как известно, чужд искусству и красоте природы. Но ведь он и не искал наслаждений, не мыслил создать индустрию развлечений. Он честно и простецки хотел переложить землю в большую мастерскую — лабораторию. Точно так же поэты двадцатых годов спешили ниспровергнуть культ природы и создать культ машины. В чистом виде и это не прижилось, однако через десятилетия в молодежи укоренились странные вкусы — этакая окрошка из базаровщины и северянинщины. Культ машины, создающей иллюзию легкого эстрадно-ресторанного счастья. Плюс философема «есть только миг», то есть все то же «однова живем».

«Забылся в человеке человек» — это значит, что браконьер и турист не желает мыслить категорией будущего, не хочет изменить свою позицию потребителя. Что ж, ребенок, чьи капризы поощряли, вырастает в себялюбивого баловня-неумеху. Цена благ земных ему неведома. Он полагает, что миллионы лет природа копила богатства, чтобы он ублажил себя. А дальше-то, те, что после нас, им-то что! «Я сам себе бог», — говорит один из таких, «супермен» из «Царь-рыбы» В. Астафьева.

Тает тайга, в дым обращаются леса, на их месте, в лучшем случае, могут появиться парки. А люди большого города едут поглазеть на остатки природы. Едут туристы, ничего им не жаль, «нигде не приросли», нет у них своей земли, да и прошлое им — лишь картинка в развлекательных изданиях...

Можно ли обновить природу! Трактора и вертолеты, краны и вышки на фоне тайги совсем ее не осовременивают. Живописцы пытаются подновить пейзажи. Проходит малое время, и картина воспринимается не так, как хотел автор: вечное и временное, цивилизация и стихия. Природа — сама себе памятник. Но так она осмыслена недавно, в столкновении с цивилизацией, когда стал ощутимым «дефицит природы».

Урбанисты и природоцентристы между собой не враждуют, спорят их идеи. И писатель не может знать, в какой диалог вступит его сочинение, какое время в нем отзовется. В

последнем своем интервью — никак не уместается в голове — Юрий Трифонов, писатель глубокий и бесстрашно правдивый, сказал: «Не желаю боготворить природу... В ней много гадости и много страшного... Я ощущаю природу города, она тоже существует. И город-лес, понимаете!» А что же тогда боготворить, во что верить! В большой город! Но сам-то писатель не очень его любит, нежности к его обитателям явно не испытывает. И это симптоматично: не любя природу, нынешний человек не может назвать предмет своего поклонения.

Вера в некую подновленную природу, не эту, наличную, а совсем другую, новую, — это беспочвенная утопия. Природа одна, она либо есть, либо ее нет. И если нам кажется, что мы создаем вторую природу, то это игра в слова. А означает она, — что нам не жаль расстаться с природой. Парк — не всамделишная природа, и турист — любитель природы, ее не знающий, от нее отгороженный. Не только природу, самих себя мы преобразуем, отесняя, скажем, тайгу до Полярного круга. Хорошо сказал об этом Виктор Астафьев: «Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже. Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили враждебности, как ни старались».

Пытаются научно обосновать нормальные отношения человека и природы — после того, как норма, равновесие нарушены. Клином — клином. Вроде бы понятно, только вот не будет ли новый клин занозистее прежнего! Не силой ли научного прогресса нарушено вековое равновесие, причем нарушено трагически быстро!

Что же может литература! Не напрасно ли бьет в колокола, если слышащих так мало! Она покушается на нечто изначальное и невероятно трудное: вернуть естественное, природное человеку чувство земли, сыновью привязанность и благодарность. Жить на земле не приживальщиком-жаждущим, не деспотом, не мучителем ее, а сотворцом жизни. Идеал этот трудно достигим. Но кто же, если не литература, может помышлять о претворении его в жизнь!

Когда-то М. Пришвин заметил, что тайга еще не воспета никем во всей красе ее, во всей глубине и грозной силе, а она достойна романов и поэм не меньше моря. Еще недавно гигантский материк ее, чуть не треть всей Евразии, литературой был просвечен лишь по краям. Человек чувствовал вражду к тайге и вопрос ставил просто: кто кого. Сто лет назад корреспондент «Восточно-сибирского обозрения» писал, что сибиряк еще очень не скоро дорастет до настоящих духовных запросов: он целиком поглощен борьбой с суровой при-

родой. Разве так обстоит дело теперь! Но в число главных, неотъемлемых духовных запросов надо ввести общение с настоящей, здоровой природой. Энергия человеческого напора на природу переместилась в Сибирь. Здесь рождается большой исторический сюжет, и сейчас он — в апогее напряжения. Мы, вероятно, переживаем кульминационный момент, после которого можно будет сказать: ну, с тайгой и реками кончено.

Любопытные и даже уникальные примеры новой постановки проблемы дает «постпроизводственная» проза В. Мазаева. Появился тип, так сказать, раскаивающегося Базарова. Герой повести «Девочка во ржи», совсем как будто нехоти, вспоминает, как он ликвидировал избушку одинокой старухи — искал более удобные подъезды к гравию на реке. «На все доводы Савина, раздраженного и сбитого с толку ее тупым упрямством, она причитала и твердила, что хочет дожить свои дни здесь, под этой крышей. Спрашивала наивно: «Рази мало на реке гравеля?» В самом деле, неужели десяток выигранных метров стоит человеческой жизни! А вспомним «избяной космос» Клюева и Есенина, «домашних богов» — ларь, опечек, полати! Неужели в ответ мы только рассмеемся: «Рази мало на реке гравеля?» «На глазах старухи избушка рухнула с обрыва, эффектно брызгая гнилем, дымя снегом и сухой золой чердака.

В эти минуты Савин перехватил ее взгляд, упершийся ему в лицо. Он даже слегка опешил. Такими глазами, наверно, смотрели на антихриста, подумал тогда он.

Потрясенная столь мгновенной гибелью своего векового гнезда, старуха выронила в снег ведро, выронила Николу и побрела назад.

Только через неделю кто-то обратил внимание, что из ее засыпанного порошей нового домишка не идет дым, нету от двери следов. Ее нашли лежащей на топчане, одетой в чистое, со сложенными на груди руками — как и положено лежать упокоившемуся христианину».

Впечатление сильное, что ни говори. Автор вел конфликт, если присмотреться, очень современный: с одной стороны — мощная техника (экскаватор, бульдозеры), жесткий график работы, напор молодости, а с другой — потерявшая здравый смысл одинокая кержачка... Лишь на некоторое время оставался жить шутилой присказкой в устах остряков ее наивный вопрос: «Рази мало на реке гравеля!» Хороши же остроты, хорошо и чувство ответственности за жизнь, порушенную технически, грубым напором! Эпизод этот в попошти побочный. Но он крепко застрял в сознании героя, хорошего работника,

не утратившего почву естественной, не колесной жизни.

Наивность! Но разве не так же наивны герои Распутина и Залыгина! И так ли уж смешно желание умереть в родном доме, в стенах, где жили деды и прадеды! «Природа, она, брат, тоже женского рода», — говорит герой Астафьева, убеждая, что поругание женщины и поругание природы — едино суть. Ведь мать-земля так же беззащитна и наивна перед сплоченной силой человеко-машин.

«Рассказы сибирячки» — это житие. Да, жите русской бабы в тягчайшие годы истории нашей. Героиня испытывается предельной мерой, и нельзя не подивиться ее жизнестойкости, цены которой она, понятно, и сама не ведает. Не задумывается она и об источнике ее, но нам-то он ясен. Это укорененный в природе быт, это пра-прадедовский уклад жизни — в полном согласии с природными ритмами. Какой-то почти забытой человеческой надежностью, сказовой величавостью веет от этого характера. Глубоко и неподдельно ее чувство природы, она чувствует ее и в самые тяжелые моменты жизни. Два типа героев видятся мне в прозе В. Мазаева: люди векового сибирского дела — землеустройства, и люди, живущие на этой земле как бы от сотворения мира, этой землей вылепленные. Вторые написаны с большей теплотой, и это, наверно, тоже нравственный итог исканий писателя. Первобытно подвержен «естественный герой» природным влияниям и так крепко спаян со средой, что и она без него уже немислима.

Странный получается парадокс: литература «открыла» традиционного героя, человека земли, как самого современного, как нравственный ориентир в нашем переусложненном мире. Как могло такое случиться! Пожалуй, не часты были на земле такие эпохи или исторические эпизоды, когда гуманитарная культура чувствовала свою беспомощность перед неумолимым натиском материальной культуры. Мало ли сейчас и книг, и фильмов о разного рода добытках из земли и от земли. И совсем другое — отдать себя жизни земли, жизнетворчеству природы. Вот такой литературы, пожалуй, все еще не хватает. Именно потому проблема природы и стала главной проблемой современной культуры: нужна экологическая этика. О ней уже пишут ученые, специалисты разных областей, но ведь опять же литераторы сумели выразить ее черты убедительнее и нагляднее всех. У человека должна быть реальная, чувственная привязанность к земле, где он родился. Только тогда чувство природы будет живым и конкретным.

Кажется, звучит даже тривиально, но лет сорок-пятьдесят назад таких слов, какие ска-

зал недавно В. Распутин, никто не говорил, во всяком случае, не печатал: «Человеческие наши качества, вынесенные из детства и юности, надо делить пополам: половина от родителей и половина от взрастившей нас земли. Она способна исправить ошибки родительского воспитания. Первые и самые прочные представления о добре и зле мы выносим из нее и всю жизнь затем соотносим с этими изначальными образцами и понятиями. Природа родного края отчеканивается в наших душах навеки... Я это еще и к тому говорю, что разрушенная отнюдь не сыновним хозяйничаньем на ней твоя изначальная родина приводит и к духовному, и к физическому разрушению человека». Находятся, однако, критики, заявляющие, что преобладание деревенской и природной тематики — это уход от истории, это, мол, своего рода консервативный романтизм.

И на этот счет есть много суждений у современной прозы, — о ней здесь речь. Ведь так понятно, что будущего нет без памяти прошлого, без наследования. Много ли проку в приумножении богатств, если человек не научился их сохранять и не знает им цену! Сохранение природы, сохранение народной памяти и есть сохранение национального типа, родной культуры. Для этого надо показать, что мы теряем. «Земля уходит из-под ног, когда из рук она уходит», — емко и убедительно сказал сибирский поэт, наш земляк.

Конечно, даже трижды гениальный писатель не разрешит противоречий техники и природы. Но и не в жалобе, не в запоздалом сожалении призвание литературы. Пере-

строить зрение человека, переместить центр интереса, — начиная с первых лет жизни, с дошкольного воспитания. Милосердия, сострадания ко всему живому — вот чего требует сейчас природа от нас. И надо бы обобщить как символ этот тип человека на могучей, всеокрушающей машине, уверенного в своей правоте только потому, что у него график, продиктованный все той же машиной.

Отмахнуться легко: мол, нет уже той земли, которой жили предки, и не довольно ли об этом! Спасать нечего, так что, мол, любой аврал в добыче богатств оправдан. А что останутся пространства опустошенной и обезображенной земли, — так время, мол, такое, требовалось «давай, давай». Но понастроить можно всего сколько угодно, а вот тайгу, как и здоровое море, как и горы, покрытые лесом, — этого уже не купишь ни за какие горы золота. Махнуть рукой — мудрость не велика: повернуться спиной к беде — это и есть самая мещанская позиция.

Я верю, ближайшее будущее создаст такие книги о человеке среди природы, которые потрясут нас и дадут надежду на будущее. Время этих книг пришло, мудрость сейчас в том и состоит, чтобы весь гигантский ворох сведений и методов направить на сохранение земли и на ней человека. И там, где земля изранена больше всего, там весть об избавлении ее прозвучит для вступивших в жизнь новым заветом. А пока литература сигналист о беде и расставании. Так говорят герои Ч. Айтматова: «Мы уходим в неизвестность... Земля прекрасна невероятной, невиданной голубиной и отсюда хрупка, как голова младенца».

Иосиф Куралов

В 1984 году в Кемерове вышли две поэтические книги новокузнецчан: «Праземля» Любови Никоновой и «Полуденный костер» Александра Рачевского. Мыслями и чувствами, вызванными их стихотворениями, хочу поделиться с читателями.

ЕДИНСТВО ДУХА И ИСТОРИИ

О Любови Никоновой на обложке книги написано, что она родилась в Куйбышевской области, а в Кузбассе живет с 1966 года. Немаловажная деталь. Она открывает два крупных биографических и географических пласта жизни поэта, которые зримо и незримо реализовались в стихотворении: «В Самарской степи, что сливается дале со степью Саратовской, много печали. Столетняя пыль здесь еще оседает, и ветер по многим пространствам гуляет...» А вот еще: «...российская текущая вода в равнинных реках движется едва, размеренно, замедленно, подолгу, столетиями втягиваясь в Волгу». Это, если провести грубую черту, — первый пласт: рождение, начальные чувства, мысли, все, что потом может питать творчество целую жизнь. Особенно, когда живешь сравнительно далеко от места рождения.

Второй, точнее, другие пласты творчества Никоновой я не берусь определять. Но кажется, они размещаются не только и не столько в пространствах биографии и географии одной человеческой жизни. Это подтверждает и название книги «Праземля».

Я не собираюсь тут оставлять своих комментариев. Они всегда беспомощны перед лицом настоящих стихов: «...И даже здесь, с природой слившись, не избежишь неожиданных дум. К земле приложив ухо — слышишь непрекращающийся шум. То шум бесчисленных песчинок (Они шумят, как океан.) А может, трение крышечек, а также — маковых семян? Но истиннее — гул заводов, дыхание глубоко-

ких шахт, плеск вырастающих народов, их убыстряющийся шаг». Здесь процитировано стихотворение «В чистом поле». Можно только добавить, что это стихотворение выросло, видимо, уже на сибирской, конкретно, на кузнецкой почве. А вот следующее за ним звучит совершенно определенно: «Зеленый слой земли уже смочила из недр промышленных текущая река...» Позволю себе разорвать это стихотворение, чтобы сказать: вовсе не слезится банальным сочувствием взгляд поэта. Он видит глубже. Чувствует и трагедию. И диалектическую неизбежность этой трагедии. И самое главное — несет в себе огромную внутреннюю силу, которая знает, где искать выход. И пробьет его: «Затронула растенья эта сила и, кажется, на гибель обрекла. Но мир не так поверхностно устроен. И живы, если в нас душа жива, лен-конопель, люцерна, мыльный корень и одуванчик — поляя трава».

Тут можно было бы сказать, что один из пластов творчества поэта — внедрение в сибирскую землю. Боюсь, это будет неполно. Уверен в одном: здесь, в Кузбассе, произошло значительное расширение сознания и уточнение видения поэта Никоновой. Атмосфера индустриального края не ослабила, не испортила зрение, а усилила его, углубила то, что было заложено русской равниной. Может, в этом — подтверждение единства духа и истории нашей бескрайней Родины, которым пропиталась Любовь Никонова и которое является цементирующей основой книги «Праземля».

ТЕПЛО ПОЛУДЕННОГО КОСТРА

Стихи Александра Раевского я впервые увидел лет шесть назад, когда в Новокузнецке проходил выездной областной семинар молодых литераторов, где обсуждалась рукопись, составившая основу книги «Полуденный костер». Тогда она ходила по рядам. Попала ко мне. Начал читать и сразу как бы приковался. Спросил у сидящего рядом новокузнецчанина:

— А кто это — Раевский?

— А вот он сидит.

Сидел парень примерно одних со мной лет, что еще больше усилило интерес. На перерыве подошел к нему, познакомился. А потом этот день, кажется, затянулся до утра. Где-то мы ходили, читали друг другу стихи. Оказалось, много точек соприкосновения. А ведь это очень важно, когда находишь человека, который тебя понимает, как бы это банально ни звучало!

Для меня такой человек — лирический герой стихотворений Раевского. Простодушный и хитроватый, надежный и искренний до надрыва. Кажется, ему можно рассказать все, и тебе станет легче. Но давайте послушаем его: «Молвил в рифму и немею кукушонком на стогу. Город славить не умею, жить в деревне не могу».

И об этом лирический герой Раевского вздохнет не раз. И не беда, что вздох немного напоминает Передреву: «...и города из нас не получились, и навсегда утеряно село». Ведь то, о чем пишет Раевский, случилось с очень многими людьми во многих местах нашей боль-

шой страны. И вот в трещине этого разлома — между городом и селом — я вижу линию судьбы Раевского. Я, например, верю, что Александр не эксплуатирует модную тему, которая совпала с его биографией. И главным подтверждением тому — интонация — единственная, неповторимая, раевская. Вслушайтесь: «По канаве лопухи, лопухи... За канавою ковром — резеда. Растеряли своих кур петухи, ни квохтанья, ни пера, ни следа... И с какой-то погрешкой в руке, понимая этот пестрый мирок, как на троне, ты сидишь на горшке, раз-два — летний деревенский царек».

Замечательное по задумке и по исполнению стихотворение о детстве! И вот этот добрый, с легкой проникой голос вы услышите почти из любого стихотворения Александра Раевского. Будь оно о Дне Победы или о казашке, вернувшейся из города в степь, будь это любовный этюд или пейзаж, который, мне кажется, особенно удается поэту.

Автор и его лирический герой, по рождению деревенские люди, не сумели растратить или смогли сохранить в современной городской жизни тот запас первозданной тишины, устойчивости, прочности, которые необходимы в городе, где под видимой крепостью чугуново-бетонных сооружений легко затаится разъедающей душу пустоте.

С этой пустотой унавязчиво борется стих поэта Раевского, который «город славить не умеет», но обогревает его надежным прозрачным теплом «Полуденного костра».

Содержание альманаха за 1985 год

Геннадий Емельянов. Голос Победы № 1-2.

СТИХИ

Игорь Агафонов. День рождения сына. № 3.
Александр Алферов. Рукавицы. Станция Чу-
гунаш. № 3.

Виктор Баянов. «В двенадцать лет...» Бабье
лето. Песнь о хлебе. № 1-2.

Алексей Бельмасов. «По улице города лет-
вей и душной...» № 4.

Владимир Берязев. «На осенней степной ок-
раине...» № 4.

Михаил Борисов. «Сорок третий...» № 1-2.

Евгений Буравлев. «Я не пишу о войне...»
«О мужестве много сказано слов...» № 1-2.

Александр Глазырин. Свое. № 1-2.

Сергей Донбай. Баллада о двадцати миллио-
нах. № 1-2.

Валерий Зубарев. Воспоминание о юности.
Жажда. Учебная война. Единство. Монолог
телезрителя. № 1-2.

Александр Ибрагимов. Из цикла «Горный
ковчезек». № 3.

Владимир Иванов. Два снимка сороковых
годов. № 4.

Игорь Киселев. «Что ты делаешь, планета?..»
№ 1-2.

Виктор Коврижных. «Засеяли землю солдата-
ми...» № 1-2. Первый рейс. № 3.

Валерий Ковшов. Работа. «Когда крестьянин
пашет...» «Упорхнула куда то кровать...» «Это
было со мной на природе...» № 3.

Валентин Кораблев. Печник. № 3.

Владимир Мамаев. «По весенним дорогам
размытым...» «Кенгсберг, сорок
пятый...» № 1-2.

Валентин Махалов. Сказочник. «Я тогда
объезжал лошадей...» «Шел человек через лу-
жи...» «Склоняя гордые знамена...» № 1-2.
Дом. Сажень. «Я люблю это время...»
«Опять склонилась голова...» «Мне снится...»
«В другой судьбе свершилось то...» Год ак-
тивного солнца. «Прямо, вкось и поперек...»
№ 3.

Михаил Небожтов. Из фронтового дневника.
№ 1-2.

Николай Никольский. На юбилей трамвая.
«Беседа, убитая в детстве...» № 4.

Любовь Пикомова. «Походы труженики...»
Клеповая роща. «Из старинной башни вы-

шло солнце...» Снеговик. «Было сердцу неве-
домо многое...» «Как получилось?..» № 4.
Семен Печник. «Раздольный...» № 1-2. «Я
знаю с детства...» «Ложится заветное слово...»
№ 4.

Владимир Соколов. Объявление в газету.
№ 1-2. «Словно лес мое тело живет...» «В
ладонь снежинка упадет...» № 4.

Глеб Холоденни. Я приду! № 1-2.

Владимир Шабалин. Село сибирское. № 1-2.

Валерий Шумилин. Дядя Вася. № 1-2.

Геннадий Юров. Стихи о Кузнецком крае.
№ 1-2.

Частушки военного времени. № 1-2.

Уходил на войну сибиряк. (сл. Е. Долматов-
ского, муз. Н. Крюкова). № 1-2.

ПРОЗА

Евгений Богданов. Миллион. Рассказ. № 4.
Александр Волошин. Бой за Зеленые Двори-
ки. Из повести. № 1-2.

Б. Глаголев. Солнцеворот. Рассказ. № 1-2.

Геннадий Естамонов. Тулай. Повесть.
№ 3.

Владимир Коньков. Брошенки. Повесть.
№ 4.

Владимир Куропатов. Перекресток. Полный
баланс. Рассказы. № 1-2.

Владимир Мазаев. Мост. Из повести.
№ 1-2.

Виктор Моисеев. Пацаны. Рассказ. № 1-2.

Петр Шмаков. В ночном. Рассказ. № 1-2.

ПУБЛИЦИСТИКА

Ив. Балибалов. На Балатоне. № 1-2.

Р. В. Белан. Сотворение кузнецкой брони.
№ 1-2.

В. Дроздов. Памятник. Родник. № 1-2.

Юрий Котляров. Моравская быль. № 1-2.

М. Кушникова. Обелиск для наших мальчи-
ков. № 1-2.

Р. Лобанова, Е. Чусовитина. Комдив Полосу-
хин. № 1-2.

В. Мазаев. Командир «Стогектарных пушек».
№ 1-2.

Павел Майский. «Вечной памяти солдат...»
№ 1-2.

Григорий Набойщиков. Вспомним тех, кто легендой оваян... № 1-2.

Виль Рудин. Огненное крещение. Память горькая, память светлая. № 1-2.

Г. В. Скакунов. История одного автографа И. Эренбурга. № 1-2.

Михаил Сорокин. В каменоломнях Аджимушка. № 1-2.

Петр Чернов. Фронтовых дорог не выбирают... (Из воспоминаний паводчика противотанкового орудия). № 1-2.

ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Александр Легчило. Тогда еще было электричество. Рассказ. № 3.

НАШ СОВРЕМЕНИК

Геннадий Естамонов. Дом для всех. № 4.

Евсей Цейтлин. Две встречи. № 3.

ПРОБЛЕМА? ДА, ПРОБЛЕМА!

Петр Ворошилов. Выбор Тани Вандакуровой. № 3.

М. Никонова. Эстетические субботы в Малюновке. № 4.

Зинаида Фигарева. Все тревоги мира... (Размышления писателя о воспитании) № 4.

ПАМЯТЬ СИБИРИ

М. Кушникова. Первые коммунары. № 4.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

А. Казаркин. Диалог о воспитании природы. № 4.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Юрий Галактионов. Испанские контрасты. № 3.

СЛОВО — КРИТИКЕ

Александр Казаркин. Величание Сибири. № 3

О КНИГАХ ТОВАРИЩЕЙ

Иосиф Куралов. Единство духа и истории. Тепло полуденного костра. № 4.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

Дина Калинина. Певсета по компьютеру. № 3

Борис Кобзарь. Хвала телевизору. № 3.

Михаил Небогатов. Пародии. № 3.



С VI зональной выставки «Сибирь социалистическая».
Нар. художник РСФСР А. Кирчанов.
«Танец телютки».
Кемерово. Х. М.

